

ЕЛЕНА КРЮКОВА

РУССКИЙ ПАРИЖ



Елена Крюкова
Русский Париж

«Издательские решения»

Крюкова Е. Н.

Русский Париж / Е. Н. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837211-7

Русские в Париже 1920-х — 1930-х годов. Мачеха-чужбина. Поденные работы. Тоска по родине. Великая поэзия, бессмертная музыка. Истории любви, огненными печатями оттиснутые на летописном пергаменте века. Париж — столица мира, город с тысячью лиц, видевший драму русской эмиграции. Художники и политики. Генералы, ставшие таксистами, и княгини, ставшие модистками. А с востока тучей надвигается Вторая мировая война... За вымышленными именами угадывается подлинность ярких, незабываемых судеб.

ISBN 978-5-44-837211-7

© Крюкова Е. Н.
© Издательские решения

Содержание

РУССКИЙ ПАРИЖ	6
Русская Франция: реальность и символ	6
Канкан	8
Глава первая	9
Глава вторая	18
Глава третья	30
Глава четвертая	40
Глава пятая	54
Глава шестая	65
Глава седьмая	74
Колдуны Марокко	84
Глава восьмая	85
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Русский Париж

Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

© Владимир Фуфачев, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4483-7211-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

РУССКИЙ ПАРИЖ

*Памяти Марины Ивановны Цветаевой и ее семьи;
Ренэ Герра, великому французу и великому русскому;
всем русским, живущим вдали от Родины – посвящаю*

Русская Франция: реальность и символ

Русская послереволюционная эмиграция – уникальное по своим масштабам и культурному значению явление. Феномен культуры русского зарубежья, сложившийся в период между двумя мировыми войнами, не имеет аналогов в истории человечества. Революция оторвала от России творческую интеллигенцию, которая волею судьбы оказалась по другую сторону рубежа.

После Октябрьского переворота и по окончании Гражданской войны русская культура Серебряного века оказалась выброшенной за пределы России, и с 1924 года Париж стал де-факто столицей Зарубежной России.

Итак, две великие культуры, русская и французская, волею судеб, стали сосуществовать на французской земле. Отсюда сразу возникает целый ряд вопросов об их взаимоотношениях, взаимопонимании, взаимопроникновении, о восприятии и вкладе русской культуры во французскую культуру... Что касается русских культурных деятелей Рассеяния, писатели, поэты, философы и художники поистине совершали подвиг: в чужой языковой среде, в чужом быте, в отрыве от родной почвы, они всячески стремились сохранить себя, свои традиции, чистоту русского языка, дух и ценности исконно русской культуры, попираемой на родине большевиками. Ведь каждый из них унес с собой Россию, свою Россию, и преданность ей...

Мой покойный друг, Роман Борисович Гуль, метко озаглавил свою трехтомную апологию эмиграции: «Я унес Россию». Ведь *они* все – великие известные и великие неизвестные – оставались до конца подлинными российскими интеллигентами, доброжелательными, чистыми, наивными идеалистами – тургеневскими «лишними людьми». И эти «лишние» – соль земли.

Поэт и критик Юрий Иваск как-то написал: «Эмиграция всегда несчастье. Ведь изгнанники обречены на тоску по родине и обычно на нищету. Но эмиграция не всегда неудача – творчество, творческие удачи возможны и на чужбине».

Эта трагическая страница русской истории XX века оказалась великой удачей для ее жертв и в конечном итоге для всей русской культуры.

И тому лучшее доказательство – всемирный успех представителей русской элиты в Рассеянии, ставшей сегодня национальной гордостью не только Франции, но и России. Своим творчеством, своей жизнью они доказали, что в свое время ими был сделан трудный, но правильный выбор. Этот опыт и пример русских изгнанников – в высшей степени поучительный урок, предпосланный новым поколениям посткоммунистической России.

Я же сохраняю обо всех этих белых эмигрантах благодарную память.

Русская первая эмиграция уже стала и для французской, и для мировой культуры своеобразным символом стойкости духа, щедрости сердца, возможности сохранить духовные сокровища нации в иной языковой и культурной среде.

Очень важно, что русские писатели, художники сейчас обращаются к теме русской эмиграции во Франции, тем самым подчеркивая связи двух культур, заново открывая исторические имена, события и положения. Так, для меня большой радостью явился роман Елены Крю-

ковой «Русский Париж» – попытка художественно осмыслить все происходившее с русскими во Франции в первой половине двадцатого века.

Елена Крюкова обращается и к истории, и к современности. Ее волнуют контрастные темы: религия, политика, эмиграция.

Автор пытается поднять событие до уровня мифологии, а сиюминутность – до уровня метафоры, символа-знака. Мост между мифом и ярко прописанными картинками реальности, жизни – вот творческое кредо писателя.

Так, на стыке жесткой реальности и высокой поэзии, написан «Русский Париж» – своеобразная торжественная ода белой эмиграции, переходящая временами во взволнованный речитатив, а иной раз – в поток чистой исповедальной лирики.

Это художественный текст, основанный на узнаваемых исторических фактах, на моментах жизни реальных исторических персонажей. В то же самое время это своеобразная гигантская фреска, фигуры которой живут по своим законам.

Не столь важен сюжет, сколь живая боль и живая радость тех людей и тех далеких лет – а они сполна присутствуют в книге.

Я желаю этому роману счастливой судьбы.

Ренэ Герра, славист, культуролог, профессор Сорбонны и Университета в Нице, коллекционер русского искусства Серебряного века (Франция)

Канкан



Глава первая

*Вода – изумрудом и зимородком,
И длинной селедкой – ронская лодка,
И дымной корзиной – луарская барка...
Парижу в горжетке Сены – ох, жарко.
Анна Царева, «Париж»*

Поезд «Прага – Париж». Катит через всю Европу: с востока – на запад. Темнота, духота, тряска. Из старой кожаной сумки – запах еды. Верная подруга Заля Седлакова насовала с собою в дорогу всевозможной снеди – чтобы дети не голодали. Дети, да. А они с Семеном? Они уже могут не есть ничего. Питаться Святым Духом.

Вагоны трясло на стыках. Стекла окон затянуты страшными ледяными узорами. Анна не спала, глядела в окно. По зрачкам резко, больно бил фонарный свет. Станция. Анна не жмурилась. Широко открыты глаза. Думы овеают лоб, как табачный дым. Жаль, в купэ нельзя курить.

Поезд опять стоял, на перроне уныло выкликали время отправления: сначала по-чешски, потом по-немецки, потом, после Страсбурга, – по-французски. Анна так и проехала всю Германию – с широко открытыми бессонными глазами. Когда фонарь бил то синими, адскими, то густо-желтыми, как яичный желток, лучами в замерзшее окно, Анна видела: ледяные розы и тюльпаны на оконном стекле вспыхивают, искрятся.

Дети тихо спали на нижней полке, вдвоем. Аля крепко прижимала к себе Нику. Ника оттопырил во сне нижнюю губу и стал похож на сына Наполеона. Теплые комочки. Родные. Спят или притворяются? Нет, кажется, спят, и крепко. Укачало их.

Семен не спал. Она слышала. Ворочался, вздыхал. Она лежал выше всех – на верхней полке: купэ было трехместное, и полки располагались одна над другой. Почему купэ теперь стало напоминать ей тюремные нары? Они же свободны, они в свободной Европе, и никакого красного террора, никаких расстрелов без суда и следствия. И – никаких тюрем. Пусть попробуют за решетку посадить!

Свобода Европы... блеф... пустота... суета.

Поезд шел, и качались вагоны, и внутри Анны рождались слова. Она все время гудела стихами, и днем и ночью. Днем научилась приглушать в себе эту музыку. Днем надо было работать, бесконечно работать. Зарабатывать деньги; варить еду; стирать и мыть; топить печь. Она без слез не могла вспомнить печи, что топила в Чехии – одну во Вшенорах, другую – в Мокропсах. Руки вечно в угле. Трещины на пальцах, на ладонях болят нестерпимо. Она сама пахла углем и гарью – вместо духов и пудры. Чудесное амбрэ.

Поезд, помоги... Поезд, стучи в такт...

*...мы в тюрьме. Мы за решеткой века.
Кат, царевич, вопленица, вор.
Не скотов сочтут, а человек.
По складам читают приговор...*

Длинно, тяжело вздохнул Семен.

Вот так же уезжали из Москвы когда-то. Сначала до Петрограда; там на Виндавский вокзал, и поезд до Риги; а в Риге на перрон вышли, носильщик услужливо подбежал с тележкой, видит – поклажа тяжелая, залопотал сначала по-латышски – Анна глядела непонимающе, – он перешел на немецкий, и Анна вздрогнула и ответила: «Danke schon, ich habe kein Geld». Семен

возмутился: что ты, Аня, у нас же есть деньги! Носильщик гордо поправил бляху на груди. Перевез на грохочущей тележке их багаж к берлинскому поезду.

Потом – Берлин. На перроне бледный поэт Андрей Быковский, встречает, губы трясутся. Семен подхватил все баулы и чемоданы один, чуть руки тяжестью не оборвал. Анна схватила на руки Алю. Тогда у нее была одна Аля. Ника тогда еще не родился.

Никогда не родиться и никогда не умереть – вот счастье.

*Улецают плесенью похлебки...
К светлой казни – балахоны шьют...
Затыкают рты, как вина, пробкой...
А возжаждут крови – разобьют...*

Стихи лились: вино, кровь. Губы покривились в горькой усмешке. «Кому нужны будут русские стихи в Париже? Семену буду читать. Кошку заведу – кошке буду читать. Алю стихи уже не интересуют. Ее уже – помады интересуют... туфельки на каблукках...»

Тяжелые веки опустить на глаза. Постараться заснуть. Хоть на час. На миг.

Берлин. Мрачные дома. Быковский нашел им тогда квартиру в центре, близ Александерплатц. Дешевую: чердак. Анна смеялась: как в Москве, в Борисоглебском! Семен устроился работать дворником – мел и скреб берлинскую улицу перед их домом. Анна кусала губы: уж лучше бы в газету! Дворнику платили лучше, чем журналисту. Аля по утрам плевалась от Анниной крутой, с противными комочками, манной каши. «Александра! Благодарю Бога за еду и ешь!» – зло кричала Анна, и лицо ее покрывалось коревыми, красными пятнами. «Вы же сами не верите в Бога, мама», – бросала ложку Аля на стол со звоном.

Они отыскивали в Берлине православную церковь и ходили туда с Алей. Аля видела: рука матери еле сгибается, чтобы перекреститься. Але нравились позолоченные иконы, густой бас священника. Анна стояла как столб, перемогая себя. Зачем мы сюда ходим, мама, спросила однажды Аля раздраженно, если вам тут нехорошо? «Чтобы не забыть, что мы русские», – холодно ответила Анна. Огромные светло-серые, ледяные глаза дочери вспыхнули. Она нарочно, назло матери встала на колени на грязный пол храма, чтобы запачкать единственное платье.

Поезд, стучи... Поезд, езжай вперед, только вперед.

*Бьют снега в окружия централа.
Прогрызают мышцы тайный ход.
Сколько раз за век я умирала —
Ни топор, ни пуля... не берет...*

Пуля. Ее водили на расстрел. Жenu белогвардейца. Семен служил тогда в Белой Гвардии, в Нижегородском полку. Где они стояли? Где сражались? У Анны родилась вторая дочка, Ольга. Леличка росла слабенькой: недоедала, кричала все время, так орала, что Анна однажды захотела заткнуть ей рот полотенцем – навсегда. И ужаснулась.

Леличка орала как резаная, и ночью громко застучали в дверь.

Анна открыла без боязни. В ледяные комнаты, провонявшие табачным дымом – Анна крутила себе из старых газет «козьи ножки» и запоем курила махорку – ввалились революционные солдаты. У них были страшные, веселые и грубые лица, багрово-румяные с мороза. Винтовки за плечами. Будто – косы у косарей в лугах. Косят смерть косцы, сгребают трупы в стога. «Анна Царева?! – оглушительно крикнул один. – Собирайсь! В кутузку! Муженек-то твой знамо где!» Она молча надела старую лисью шубку, повытертую каракулевую шапочку и валенки, рукавицы не забыла, и сухо сказала Але: «Александра, за Ольгой следи. Если я

не вернусь – стань ей матерью». Аля кивнула. Из огромных глаз девочки рекой плыли слезы. У дочери глаза как ледоход. Лед, медленно тая, идет по реке, кровь плывет, отражается синее Божие небо.

Тогда в тюрьме недолго Анну мучили: день всего, – и вместе с сокамерниками повели на расстрел. Они все прекрасно понимали – убивать ведут.

Рядом с Анной шли седенькая старушка в букольниках, в пенсне на горбатом носике; высокий, как жердь, мужчина с лицом твердым и жестким, будто из железа вылитым; две девушки, очень молоденькие, им не сравнялось еще и пятнадцати; и три разбитных мужика в поддевках, в купеческих жилетках; на запястьях и скулах мужичков – клеймами времени, привычного к боли и ужасу – ало-синие следы побоев. «Ну, старушка из благородных, высокий тоже, а этих-то за что?» – смутно думала Анна, еле переставляя ноги после бессонной тюремной ночи.

Шла и свои стихи повторяла: «О бессонная ночь, о пресветлая ночь! Все метания – прочь, все сомнения – прочь! Только твой золотой, проникающий свет. Только этот простой – на всю ярость – ответ...»

«Молись, дитя! – воскликнула старушка в пенсне. – Молись, ибо не ведают, что творят!»

Это была зима Восемнадцатого года: Царя и Семью тогда еще не казнили.

Анна знала, что Царская Семья где-то в Сибири. А может, на Урале? Слухи долетали и таяли в воздухе, как снег. Белого снега письма, инистая, льдистая древняя вязь. На нее наставили дула винтовок, палачей было четверо, а может, пятеро, она не запомнила. Стали стрелять. Старушка упала. Мужчина с железным лицом стоял, вцепившись в окровавленную руку. В него стреляли, а он все стоял и не падал! Пули свистели мимо Анны. Она молчала. Мысль работала ясно и холодно: сейчас я умру. Вот сейчас!

Раздался крик: «Прекрати-и-и-ить!» Солдаты опустили винтовки, матерились. Вразвалку подошел человек в черной кожаной куртке. Прищурясь, глядел на Анну. И Анна поглядела ему в узкие, татарские глаза. У ее ног валялись две убитые девочки. «На цыплят похожи». Мимо лица пролетела черная птица последней слепоты. Солдаты подбежали и стали выдирать из мертвых ушей жемчужные, крохотные сережки, срывать с шей нательные крестики на золотых цепочках. Анну затошнило. Она видела, как пальцы в крови судорожно толкают в карманы золото и жемчуг. «Идемте! – сказал, как отрубил, кожаный человек. – Вас взяли по ошибке». Без единой мысли в голове Анна пошла за ним. Ноги ступали деревянно, не гнулись.

Он привел ее в комнату в здании тюрьмы. Грубо раздел и изнасиловал. Анна, пока он пыхтел и сопел над нею, даже лицо не отворачивала, глядела в потолок. Ей казалось – это вагон, купэ, и она едет. Уезжает. Далеко. Навсегда.

Потом она торопливо оделась, собирая на груди в кулак разорванное кружево исподней рубахи. «Проваливай, – сказал ей кожаный, – пока я добрый».

В дверь купэ осторожно постучали. Проверка билетов. Бочком втиснулся контролер.

– Madame, monsieur, s-il-vouz-plait... .

– Анна, не вставай. Я покажу, – жестким бессонным голосом тут же откликнулся Семен.

Муж протянул билеты. Контролер так сладок, так любезен. Дети пошевелились. Ника муркнул, как котенок. Анна так и глядела в потолок. В качающийся потолок купэ.

Дверь хлопнула. Франция. Они уже едут по Франции.

Анна уже была во Франции. Давно. Вместе с сестрой Тусей. В другой жизни. Ее больше нет. Где Туся? И Туси, может быть, уже нет. А Анна еще есть. И теперь Франция станет ее пристанищем. Домом? Никогда. Это Семену нужен дом. А она – поэт; какой ей дом, когда для нее дом – весь мир? И нигде дома нет. Не будет. Не построишь.

А они думают – мать, жена...

*Чрез решетки дико тянем руки.
Камни лупят по скуле стены.*

*Мы уже не люди – только звуки.
Еле слышны... вовсе не слышны...*

Так проехали всю ночь. Последняя ночь, им проводники сказали. Утром – Париж. Так и пролежала всю ночь – с открытыми глазами. И снег расстояний их заметал. И гудели, плакали встречные поезда; и их поезд отвечал стоном, свистом.

А утром поезд встал, грохнув, содрогнувшись всем тяжелым железным телом. Замер, огромный, уставший бежать зверь.

Анна погладила на запястье браслет – серебряную змею.

Дверь купэ отъехала. В проем всунулось поросячье-розовое, умытое лицо. Бодрый, свежий голос по-русски выкрикнул:

– Восточный вокзал! Все, Париж, прибыли, господа! Подъем!

Аля вскочила, не расчесывая, стала укладывать волосы, они призрачной паутиной путались между пальцев. Ника лениво спустил ноги с полки. После сна у него опухло лицо, он стал похож на бегемотика. Русые кудри, алые губки бантиком. Не мальчик – Рождественская открытка.

Семен легко, как с коня, спрыгнул с верхней полки. Его лицо – ровень с глазами Анны.

– Аня! Вставайте. Приехали!

Вот теперь у нее были закрыты глаза. Притворялась спящей.

– Анюта, – шепнул Семен и ласково потряс ее за голое плечо, высунувшееся из-под жесткого верблюжьего одеяла, – Париж...

Распахнула глаза. Обернула голову. Семен ужаснулся холоду, что тек из зеленых – две крымских забытых виноградины, – любимых глаз.

– Париж. Ну что ж. Надо вставать.

Она выбросила из-под одеяла ноги. Семен принял ее на руки, будто она прыгала наземь с балкона. С солнечной приморской веранды, увитой плющом и диким виноградом, а не с жесткой полки душного купэ. «Какая легкая, худенькая. Так легко ее держать. Так тяжело...»

Увязывали баулы. Уталкивали разбросанные по купэ вещи в сумки. Ника весело плясал на чемодане. Анна нацепила черный берет, скособочила его, нахлобучила на ухо. Мельком погляделась в круглое зеркальце – вытащила из сумки. Опять зеркальце в сумку швырнула.

Красавица! Париж оценит. Мысли текли быстрые, язвительные, жестокие.

Как жить будем? Где? Что делать будем?

Вытащили чемоданы и сумки на перрон. Из трубы паровоза валил густой черный дым, и Анна глубоко дышала чужой гарью. Еще пахло свежесдобленной сдобой; еще – странно, здесь, на вокзале – молотым кофе. Она сглотнула. Есть захотелось.

Брось, Анна, не хнычь, терпи! Как мать твоя покойница говорила: «Не балуй себя едой и питьем! Чем слаще ешь – тем горше плакать будешь на Страшном Суде!»

– Вот мы и в Париже, Семушка.

Повернулась к нему всем корпусом, как в танце. Он испугался: вдруг за руку возьмет и сейчас тут, на перроне, затанцует?! Засмеялась, прочитав его мысли. Он криво улыбнулся в ответ.

Куда сейчас? А Бог весть куда. У Семена адрес, он поведет их, поводырь!

На привокзальной площади взяли такси. Седой благообразный таксист помог им погрузить в авто багаж. Услышав, как супруги по-русски переговариваются, по-русски вымолвил:

– Я тоже русский. Вы откуда? Из Петербурга? Речь питерская, по выговору!

– Из Москвы, – сказала Анна, не глядя на таксиста. – А вы из Питера?

Слеза уже бежала, дрянь такая, по щеке.

– Из Питера! Я ведь генерал, друзья мои! Я – друг Юденича. Погибла Россия!

Не глядела на него – боялась разрыдаться в голос. Старик тоже плакал.
Как он хорошо сказал – не «господа», а «друзья».

– Вам куда, милые? Без денег доведу!

Семен сунул таксисту-генералу записку.

– А, улица Руве, девятнадцатый район! Не из роскошных местечко... Рабочие живут. Железная дорога рядом, фабрики... Бойни неподалеку... запахи, крики... ни парка, ни бульвара, где детишек-то будете выгуливать, бедные вы мои?

Правильно, бедные, жестко думала Анна, по поклаже видать.

– Мы временно там. Остановимся у знакомых, потом квартиру найдем.

– Господи, сначала работу найдите!

Автомобиль шуршал шинами по асфальту. Анна тупо, слепо молчала. Молчал и Семен. Дети щебетали как птички, прилипли личиками к стеклам, восторженно разглядывали Париж, как давнюю, невозможную новогоднюю елку в свечах и игрушках.

Когда семья вышла из такси и Семен расплатился с водителем, насильно засунув ему в руку купюру, бывший генерал широким крестом перекрестил их и прошептал:

– Помогите вам Господи, помогите.

*

Ярко, больно блестит на солнце сине-зеленое, веселое море.

На вкус терпко-соленое. Цветом – то как прозрачно-зеленые грозди винограда Марсанн и Русанн, то как густо-синяя, сизо-лиловая тяжелая, будто кованая гроздь Мурведр.

Русанн, Марсанн – женские имена звучат переборами лютни, аккордами арфы. Юг! Благословенный!

И берег-то назван в честь моря – Лазурным.

Издавна здесь именитые люди селились. Замки графы, герцоги на приморских склонах возводили. Солнце ласкает землю, целует! Боже, сколько виноградников здесь – стекают с кудрявых гор к морю, бегут, кудрявые зеленые овечки, к его плоскому синему, жестяному подносу! А на подносе – белые корабли, как белые фужеры, утлые лодчонки – крохотные рюмки; и замок Иф близ Марселя, где узники томятся, – темный, старинный коньячный бокал! Пей не хочу! Опьяней от красоты мира!

Ницца – город-сказка. Белые домики-скворечники торчат в густой зелени. На рынке крестьянки свежую макрель, морскую жирную форель за грош продают. А уж винограда – завались, и свежего, и изюма! А в праздник вина, в день святого Венсана, каких только вин виноделы на прилавки не выставляют! И гудит Ницца два, а то и три дня. И все пьют, а пьяными не бывают! Лишь усы лихо закручивают мужчины, и, пробуя вино на вкус, долго смакуют, цокают языком. И бешено кружат в танце хорошеньких крестьяночек из Санари, из Сен-Тропе, из Экса, из бухты Каро! Только вспыхивают под летящими лопастями юбок белыми, серебряными рыбами девичьи ножки. Только стучат каблук. Правду говорят: вино – напиток богов. Хоть на миг, а люди богами становятся, вина испив.

Много русских, подранков революции, поселилось в Ницце. Да и в Марселе тоже много. На кораблях сюда, на Лазурный берег, приплывали, обогнув землю окружным путем – иные плыли из Владивостока в Шанхай, из Шанхая в Бомбей, из Бомбея – в Каир, из Каира – в Марсель. Иные по старой, дворянской памяти в Ниццу жить приезжали: невыносим был гудящий, как улей, Париж, дымные улицы, многолюдье, поденная грязная работа. Юг нежной песней, виноградным сладким соком из хрустального бокала казался. А приезжали – и начиналось то же: заработок денег, борьба за каждый встающий день.

Юноша Рауль Пера случайно познакомился с семьей адмирала Милкина: увидел – стоит на рынке в жаркий солнечный день дородный старик, профиль сухой и острый, не нос – клюв

орлиный, маленькие птичьи глазки пронзают людей насквозь, сразу все знают о них, – обводит взглядом лари и кульки, мешки и россыпи снеди и иных товаров. Старик пошел по торговым рядам; Рауль безотчетно пошел за ним. Стражем стал, соглядатаем.

Старик пересек полосу солнечной мостовой, отделявшей продовольствие от старинных вещей. Рауль оглянулся по сторонам. Сердце билось. У сердца выросли жалкие, воробьиные крылья.

Славился на все побережье антикварный рынок в Ницце! В первое воскресенье июля съезжались сюда жадные покупатели незапамятной французской старины; и не только французской – старик шел и глядел на алжирские статуэтки эбенового дерева – гнусных африканских божков, на связки индийских гранатов, то темно-алых, кровавых, то нежно-лиловых, то прозрачно-ледяных, то ярко-зеленых, ярче виноградной листвы; на мексиканские маски Кетцалькоатля, на испанские перламутровые веера, на японских бронзовых смеющихся Будд, на аргентинские погремушки, сделанные из полых высушенных тыкв.

И жадней всего глядел благородный старик на медные русские подсвечники. О, даже белые свечи были воткнуты в старую, черно-зеленую медь. Замер старик. Застыл. То ли любовался, то ли плакал.

Рауль, не помня себя, шагнул вперед. Рука сама вытащила из кармана кошелек.

Вчера Рауль сдал экзамены в коллеже, и дед Рауля, итальянец из Пьемонта, по такому торжественному случаю подарил внуку бумажник, а в нем, ура, франки лежали. Рауль от радости и стыда даже не сосчитал, сколько.

– Эй, хозяин! Подсвечники почему отдашь?

Прокопченный на солнце торговец сощурился, оценивая мальчишку. Свистнул сквозь зубы.

– Пятьдесят франков! И – забирай!

Рауль раскрыл бумажник. Дрожащими пальцами пересчитал дедов подарок. Десяти франков не хватало – тут было сорок.

Он еще никогда в жизни не торговался. Побледнел от волнения.

– У меня не хватает, хозяин!

Губы дрожали от обиды. Глаза следили: старик вздрогнул. Птичьи зрачки перевел на юнца.

Антиквар протянул загорелую, крепкую руку. Рауль вынул купюры. Бумага, деньги ведь это только бумага, и не более того! Скорей, гляди, как он смотрит! Сейчас повернется, уйдет...

Рауль расплатился, схватил с лотка два подсвечника и протянул старику – и не успел: и вправду увидел его спину. Высокую, чуть сутулую спину. Спина качалась, уходила. Шевелились под мокрой рубахой лопатки. Кинулся Рауль; старика за локоть схватил.

– Позвольте, я вам... Это подарок!

Подсвечники, задыхаясь, протянул. Старик глядел недоуменно, холодно. Прокалывал Рауля зрачками.

– Что, зачем?

– Я купил это для вас! – в отчаянии крикнул Рауль.

И старик улыбнулся. И взял из рук у Рауля русские подсвечники.

*

Потом они пришли домой к старику. Его звали Алексей Дмитриевич Милкин, и он в России, при последнем Царе, был адмиралом Царского флота. Рауль познакомился со всем семейством адмирала – с женой, глядящей покорными оленьими глазами, с двумя дочерьми – Лилей и Ликой, с тещей-старухой – ее чудом спасли, вывезли из советского Ленинграда уже после

смерти великого вождя большевиков Ленина, – с ее старой сестрой, похожей на кривую ржавую кочергу, голос скрипучий, зубов во рту нет, а душа добрая, и взгляд – ангельский.

Старая кочерга все время молилась, стоя на коленях перед киотом. Рауль впервые в жизни видел православный киот. Глядел, разинув рот, на золотые лики святых на черном, дегтярном фоне, на кроваво-алый плащ Богородицы, на пустые, тихие ладони Христа. Ладони Бога напоминали стертый манускрипт, палимпсест. Знаки, линии, морщины, записи времени: зачем они вечности? Зачем вечный, небесный Бог стал человеком?

Христос был похож на него самого, так был юн и беззащитен, и пушок над губою и на подбородке, что Рауль пугался.

Адмирал Милкин сажал Рауля с собой за стол, они обедали вместе. За креслом адмирала по старинке стоял лакей, русский мужик, адмирал смешно звал его – Гринька. Рауль вслушивался в диковинные русские слова. За обедом изъяснялись по-французски, и он все понимал, и принимал участие в беседе; а когда вставали из-за стола – тут же все по-русски говорили.

– Хочешь, буду учить тебя русскому языку? – спросила печальная жена генерала, Ираида Васильевна.

Рауль согласился с восторгом.

*

Адмирал Милкин познакомил Рауля со всеми русскими, что поселились здесь, на Юге. Рауль побывал у всех в гостях – и у княгини Васильчиковой, у которой мужа-князя расстреляли вместе с Царской родней, а она вот счастливо уцелела, и у князей Нарышкиных, Сергея и Ксении, что спасались преподаванием музыки и открыли музыкальную школу, и Ксения учила французят нотной грамоте и игре не на фортепьяно – на старом разбитом клавесине. Алексей Дмитриевич купил клавесин задешево на том же антикварном рынке, где пропал на воскресенья, и Нарышкиным подарил. Они очень благодарили.

Рауль делал успехи в русском языке. Он скоро узнал, что такое «спозаранку» и «охота», «самовар» и «сенокос», «икона» и «молитва», «честь» и «расстрел». А еще он узнал, как будет по-русски «виноград»: «выи-но-ггад», вот как! Он сначала грассировал и картавил, все никак не мог выговорить русское раскатистое, как гром, «эр». «Рцы», важно поднимал палец адмирал, это буква рцы. Аз, буки, веде, глаголь, добро...

Рауль понимал, что такое добро. Оно щедро лилось из самодельного душа в саду адмиральского дома – Алексей Дмитриевич сделал душ из садовой лейки и очень гордился этим.

В истомно-жарком приморском августе они поехали в гости к знаменитому русскому писателю, что жил неподалеку от Ниццы, в Санари. Лика и Лиля надели белые широкополые шляпы; адмирал – свой старый, чудом сохраненный в бурях войн и революций белый, с золотом, китель. Наняли пролетку. Адмиральша ехать отказалась – у нее сильно болела голова.

Пролетка тряслась по дороге, девочки смеялись, показывали пальцами на бушующее море – день был огненный и ветренный, прибой рассыпался над прибрежными скалами белой, бешеной пеной. «Пальцем нельзя показывать!» – гневался адмирал. Пролетка остановилась около белого особняка, в тени платана. Возница раскурил трубку. Распахнулась дверь дома, и молодая женщина, кудрявая и смуглая, с глазами-вишнями, пошла навстречу приехавшим легким шагом, будто танцует. В руках она несла бутылку с вином и глиняную кружку.

Она подошла ближе, и Рауль увидел – нет, совсем не молодая, морщины птичьими лапками в углах глаз. И снежные нити седины в веселых кудряшках.

– Здравствуйте, дорогой Алексей Дмитрич! – пропела женщина по-русски. – Освежитесь с дороги!

– Кучеру сперва налей, Вета, – ворчливо кинул Милкин.

Сидели не в доме – на открытой веранде. Хозяйка, та, что вынесла им вина, разливала чай из пузатого медного, с клеймами, баташовского самовара. Писатель неприязненно глядел, как супруга раскладывает возле блюдечек золоченые ложечки с витыми ручками. «Плохо живут, – смутно, смущенно подумал о них Рауль, – какие-то злые друг к другу они». Старая вислоухая собака медленно подошла, ткнулась мокрым носом в колено. На веранду не вошла – вбежала юная девушка, волосы рассыпаны по плечам, улыбается, и зубы блестят! Красивая дочка какая у писателя!

– Бонжур!

– Бонжур, Алиночка! К нам, к нам! Гляди-ка, кто к нам прибыл!

Рауль наблюдал, как преобразилась знаменитость. Заиграло, заискрилось, запыхало румянцем лицо, еще миг назад старое, дряблое! Рауль уже читал книжки писателя, изданные в России, до революции, и здесь, в эмигрантских парижских издательствах. Ему нравилось, как он пишет – об охоте, о собаках, о женской красоте. О слезах перед древней иконой: старик на коленях, на дощатом полу сельской церквушки, а вокруг метель, снега...

Рауль никогда не видел снега.

– О, бонжур, Алексей Дмитрич... девочки! А это...

– Месье Пера, наш большой друг! Благородный юноша! Генеалогическое древо его уходит в глубь истории Ниццы, Тулона и Пьемонта! Глядите, профиль – вылитый кондотьер, ма пароль!

Густоволосая, что твоя русалка, загорелая девочка присела в реверансе. Ямочки на щеках. Хохоchet беззвучно. Руку протянула беззастенчиво.

– Алина!

– Рауль, – и ручку пожал, боясь раздавить, причинить боль, такая хрупкая ручка, фарфоровая.

– У вас пгелестная дочь! – сказал по-русски, неимоверно грассируя.

Писатель побледнел. Жена уткнула длинный нос в чайную чашу. Поправила растерянно седые кудри.

– Это не дочь, – сказал писатель, любовным взглядом обнимая все юное, трепещущее, жадно дышащее солнечное тело. – Это Алина.

– Это его любовь, – сказала жена Вета полным слез голосом, отодвинула от себя чашку, расплескала чай, встала, уронила плетеный стул и вышла вон с веранды в солнце, в марево, в факельный жар полудня.

– Что же ты, Петр Алексеич, что ты, ну...

– Я? Ничего. – Писатель улыбнулся – будто нож прорезал жаркий полумрак веранды. – Все правда! Я без нее жить не могу! В ней – вся жизнь, что осталась!

Обнял Алину за плечи. Девочка запрокинула голову. Коснулась затылком старой мужской руки. Рауль не знал, куда девать руки, глаза. Адмирал разлил всем в бокалы красного вина из оплетенной сухими прутьями пузатой бутылки.

– Выпьем за счастье, Петя, – тихо сказал.

– За Россию выпьем! – сумасшедше сверкнув желтыми, в алых нездоровых прожилках, белками старых глаз, крикнул писатель.

После обеда прилегли отдохнуть. Раулю постелили на веранде. Петр Алексеевич и Вета разбрелись по комнатам: он – в спальню, она – в другую. Порознь спят; по-кошачьи друг на друга фыркают... а где же Алина? Почему-то представил ее на берегу моря, с букетом ярких азалий в тонких смуглых руках.

Дверь скрипнула, и Рауль вздрогнул, приподняв отяжелевшую от прованского вина голову с полосатой подушки. Привскочил на диване, сел, смущенный: вошла Алина. Кровь бросилась в голову: а если обнимет, поцелует? Жизнь была из девчонки марсельским площад-

ным фонтаном – до неба! Села на краешек дивана. Бедром коснулась ноги юноши. Лицо Рауля пылало малиново.

– Да вы не бойтесь меня, – хихикнула, кончик язычка сквозь зубки показала. – Я... вас не обижу!

Захохотала беззвучно, закидывая голову, как давеча в гостиной.

– Я хочу попросить вас... – Взяла в пальцы густые, пшеничные волосы, сунула концы прядей в рот. Глазенки расчерчивали, разрезали вкривь и вкось красное лицо Рауля. – Вы будете моим душеприказчиком!

Рауль онемел от ужаса и смеха.

– Но вы же такая молодая!

– Я умру, как все! – И опять хохотать, теперь уж музыкально: в голос.

– Тише, мадемуазель... хозяев разбудите...

Алина приблизила лицо к его лицу. Они вдвоем были похожи на детишек, строящих на берегу рыцарский замок из сырого песка.

– И разбужу. И что? Да не спят они. Вета меня ненавидит, а Петруша ждет, что я к нему в спальню приду. А я – не приду! Я – свободна! Что хочу, то и делаю!

– А что я...

Алина поняла. Ее губы коснулись его алого уха. Шептала быстро, вздохнув:

– Я тоже пишу. Стихи! И рассказы! И – дневник веду! Господи, какой же хороший дневник! Мне будет жалко, если я вдруг умру, а все это добро пропадет! У меня в комнате сундук. Там мои бумаги! Я напишу... завещанье... на вас!

Рауль глядел в юное, смуглое, румяное, веселое лицо – и ничего не понимал. Голова кружилась. «Шутит девчонка...»

– И у нотариуса заверю! Дайте мне ваш адрес, чтобы я могла вам бумагу прислать!

Рауль, вытаскивая из кармана визитку, опять коснулся ногой ее ноги, и новая волна краски накатила, застлала глаза. Алина цапнула визитку, как кошка.

– А, в Ницце живете! Рядом! Так я и думала!

Обняла за шею. Быстро, жгуче поцеловала в щеку. Побежала к двери.

Куколка. Милая, нежная куколка. Ручки тряпичные, гибкие. Губки сердечком.

Остановилась. Подумала секунду. Подбежала опять к дивану, нагнулась – и поцеловала мальчика в губы.

И тогда уж выбежала совсем.

*

Когда адмирал с семейством и Рауль уезжали восвояси, Рауль, сидя в пролетке, крепко прижимал к животу маленький сундучок. В сундучке лежали рукописи Алины Красновой. Молодая, а столько уже написала. Он завидовал. А сколько еще напишет! Зачем она отдала ему бумаги? Чтобы Вета не прочитала, как Алина любит ее мужа? А может, она и правда скоро умрет? Господи, спаси взбалмошную девочку: от болезни, безвременной смерти и от греха. Пролетка катила. Терпко, остро пахло хвоей прованской длинноиглой сосны: будто дамскими пряными, восточными духами. Доносился грохот прибоя. Лика и Лиля дулись друг на друга. Адмирал вытирал лоб батистовым платком. Жара стояла в Ницце в этом году.

Глава вторая

*Горький сполох тугого огня
Средь задымленного Парижа —
Золотая мышца коня,
Хвост сверкающий, медно-рыжий...
Жанна, милая! Холодно ль
Под вуалью дождей запрудных?
Под землей давно твой король
Спит чугунным сном непробудным.
Анна Царева. «Золотая Жанна»*

Семья Лидии Чекрыгиной переселилась в Париж сразу после революции. Перешла из России во Францию, как по воздуху, по облакам. Да нет: по кровавой земле. Лидия вспомнить не могла, как ехали, шли, брели, голодали; ревели в три ручья; как сына, сосунка, в Галлиполи, в лагере для беженцев – на пустыре хоронили. Лидин муж умер, и она осталась одна с тремя детьми, девочками: Анастасией, Евдокией и Ариадной. Ася, Дуся и Адя, слава Богу, послушными были: матери не досаждали, наоборот, помогали – глядели друг за другом. Старшая, Ася, рано научилась готовить; младшая, Адя, талантлива на стихи и песни оказалась – сама сочиняла, пела сестренкам. Так и росли, так и жили: щебетали, майские соловушки, в чердачных хоромах, в скворечнике парижской нищеты. Лидия нанималась на поденные работы: мыла полы и окна в домах богатых парижан.

Ту же работу и Анне предложила поискать.

– Аннинька, ты не тушуйся! Париж – он такой, жестокий! И не стесняйся ничего. Все благородные замашки забудь! В России, далеко, они остались... – Кривила лицо, чтоб не заплакать. – Хочешь, я богатеев своих поспрашиваю, работу тебе найду?

Анна робко смотрела на мужа. Семен отворачивался к окну, дымил папиросой. Анна видела: похудел, пожелтел. Целыми днями бегаёт по городу, рыщет, ищет, как собака ищет кость. Не везет ему. Нигде – ничего. Пока Лидия кормит их всех: запасы овсянки есть, на хлеб и чай с сахаром Лида зарабатывает. Сыр, вино? Давно забыли вкус. Мясо на рынке, Halles, покупают по праздникам. «В прошлую Пасху, – Лида вздыхает, – куличи пекли, яйца красили! А в эту – не знаю, что будет!» Анна смеялась: кулич из овсянки испечем!

– Хочу, – Анна кивала. – Найди!

И Лидия однажды вернулась домой веселая, хоть черные круги под глазами углем печным горели: нашла, нашла тебе работу, и прехорошую! Много обещают платить! Богачка такая – у-у! Знаменитость!

Анна приделась, к одному-единственному темному платью прицепила другой воротничок, беленький, парадный, кружевной, влезла в единственные на каблуках туфли и пошла по адресу.

Разыскала особняк на набережной Сены. Рядом – мост, и на колоннах – позеленелые от старости, вздыбленные кони, крылатые. Три коня медно-зеленые, а один – резко обернулась – золотой! Рабочие позолотили, начистили. Кто бы позолотил ее нищую, черную жизнь?

Долго дергала за витой шнурок звонка. Услыхала шаги: кто-то сбегал по лестнице. Залязгал замок.

– Что нужно?

Горничная глядела неприветливо, мрачно, исподлобья. Анна бессознательно заправила за ухо прядь, висящую вдоль щеки. Уняла дрожь губ.

«Даже и без bonjour. Побирושкой сочла».

– Я от Чекрыгиной. На работу по найму. Могу делать грязную работу. Поломойка. Судомойка. Чекрыгина сказала – вам нужно.

Горничная хмыкнула, впустила Анну. Анна поднималась вверх по мраморной, сахарно-белой блестящей лестнице – и чуть не упала, зацепилась каблуком за ступеньку. Коридоры, двери, еще коридор, мягкий ковер под ногами. Везде ковры. И пахнет хорошо: духами, кофеем, круассанами свежими и почему-то собаками, псиной, но не противно, а весело.

Снопы света ударили из широко распахнутых дверей. Анна вошла в эти двери, подумала: «Золотые ворота! Царские врата – как в церкви...» В широкой, как море, гостиной пол застлан узорчатым ковром. На ковре сидела в коротком, прозрачном платье – нагло, неприлично видны груди и живот, темная перевернутая пирамидка волос внизу живота – уже немолодая, но еще красивая простоволосая женщина, в теле, чуть грузная; глаза ее искрились, рядом ползали два ребенка – мальчик и девочка – и лежали, как два сфинкса, два больших, бархатных мышастых дога; дети и собаки катались по коврику, хохотали, и женщина хохотала вместе с ними.

– К вам, мадам! – кинула угрюмая горничная и ускользнула.

Женщина тяжело, сначала смешно встав на четвереньки, как собака, приподняв увесистый зад, поднялась с пола. Анна отворачивала голову, не могла смотреть на просвечивающее сквозь нежно-оранжевый газ голое тело. Ни корсета, ни панталон, ни чулок на даме не было. Лишь кусок прозрачной ткани. Дама сделала шаг к Анне, и будто светлая музыка зазвучала. Анна уже не могла от нее глаз оторвать. Она двигалась нежно и плавно, и руки пели, и колени смеялись.

Дама поймала восхищенье и отвращенье в глазах Анны. Закусила губу.

– Поломойка мне нужна, – насмешливо сказала.

– Сколько будете платить?

– Не пожалеете. Не обижу.

– Но у вас же везде ковры!

– Вы не умеете справляться с ковровой пылью? Тогда вы мне не нужны!

Колени Анны подкосились. Выдавила, улыбаясь вежливо:

– Умею. Я много чего умею. И – с детьми возиться!

– У меня есть нянька. – Глаза надменной полуголой дамы подобрели, она погладила подол своей странной, античной туники. – Но если вы пожелаете их развлечь – пожалуйста! Вы русская? У вас отличный французский! Что так смотрите? Наряд не нравится? Я танцовщица! По миру гастролирую! Мое имя – Ифигения Дурбин! Слышали? Недавно вот в Америке была! Чуть эта Америка! – Она выругалась. – Merde!

Анна застыла. Не могла опомниться. Она читала об этой даме в газетах, хоть газеты ненавидела; читала, чтобы знать, когда война начнется – все и в Праге, и в Париже бесконечно болтали про войну. Вот как – поломойка у самой Дурбин! Семен расхохочется. Она-то думала, Дурбин в Лондоне живет, а она, на-ка тебе, парижанка!

– Тряпки, ведра и щетки вам Лизетт даст. Лизетт, что вам дверь открыла!

Анна пошла к двери. Острые каблуки старых московских туфель, их подарил ей в голодной, холодной Москве старик князь Волконский, обожавший ее стихи, тонули в мощном ворсе ковра. Былое погибло. Она похоронила свое время. Князь сидел в кресле, как больной орел, а Анна приходила, варила ему кашу и кормила его с ложечки. Как ребенка. О да, она умеет с детьми. И со стариками. И со зверями.

Князь Волконский все равно умер. От голода. Когда у Анны закончилась крупа. Она пришла однажды, прибрела по метельной улице, неся под незастегнутым пальто укутанную в дырявую шаль кастрюлю с кашей, а он сидит в кресле уже каменный, ледяной. Памятник самому себе. Легко умер – на лице ни следа последней борьбы, страха.

Она похоронила князя. Вместе с Андрюшей Быковским. Он тогда еще не уехал в Берлин.

Они везли мертвого князя на кладбище на двух связанных детских салазках.

Собаки нюхали Аннины ноги. Роняли слюну на ее единственные фильдеперсовы чулки.
– Эй, как вас зовут? – крикнула Ифигения ей в спину.

– Анна Царева, – сказала Анна, не оборачиваясь, и голос ударился о массивную дверь с вычурной лепниной и отлетел мертвым эхом.

*

Так стала Анна работницей у мадам Дурбин.

Ирландка, Дурбин давно уже объехала полсвета, и жила там, где захочется, подолгу – в экзотических странах: в Японии, в Индии, в Мексике. У нее было три дома – дом в родном Глазго, дом в Риме, она любила Вечный Город, и особняк в Париже. Знаменита Дурбин была тем, что первая освободила балерин от пачки и от пуантов – стала танцевать в просторных греческих одеждах, имитировать античные танцы, вставать на всю стопу. Это казалось вопиюще грубым, жутким. Первые выступления Ифигении освистали, ее самое забросали тухлыми яйцами. Дурбин проплакала всю ночь, а наутро позвонила импресарио: «Жюль, сделайте мой вечер! Через неделю! Послезавтра! Завтра!» Она вышла на сцену Бурбонского дворца в немыслимо короткой тунике, ее широкие грузные бедра и свисающие двумя тяжелыми дынями груди были у всех на виду. Дурбин поздно начала танцевать, и детей родила поздно – от пятого мужа, красавца-американца, актера киностудии «Парамаунт», понимая: сейчас или никогда. Детки получились превосходные, ангелочки щекастые, умники. Ангел-мальчик и ангел-девочка. Когда рожала – орала так, что слышал весь квартал.

Развелась с пятым мужем, вышла замуж за шестого, за седьмого – все неудачно: шестой ограбил ее сейф и удрал на Кубу, седьмой, французский поэт, ночи напролет проводил в пьянках, обошел все парижские ночные клубы, дебоширил, изменял. Когда Ифигения шало, нагло, назло изменила поэту с продюсером, поэт застрелился из смит-и-вессона на берегу Сены. Тело нашли в реке у пристани, где всегда причаливали голландские барки, в серый, зеленоглазый, туманный день. Револьвер – на парашюте набережной. Отпевали самоубийцу в монастыре Сен-Дени – Дурбин не сказала кюре, что поэт выстрелил в себя, наврала – утонул на рыбалке. Далеко разносился гул мрачных, басовых колоколов.

Роста Дурбин была высокого, и телеса у ней богатые были, и она их не стеснялась. На ее туалеты заглядывался весь Париж. После того, как ее ограбили, она сделала турнэ по белу свету – и заработала столько, сколько не снилось ни одному артисту «Grande Opera».

Белоручка, она никогда не делала по дому ничего; стряпня и уборка – фи, как это пошло! Она лишь любила купать детей. Раздевала их, тетешкала, окунала в теплую воду. Дети визжали. Голубая вода солнечно колыхалась в лохани. Ифигения была счастлива.

О да, она всегда была счастлива! Даже когда ревела ревмя, ограбленная. Даже когда стояла навтыжку, как императорский солдат, над гробом седьмого мужа.

Эта женщина? Анна, как ее там, За-рьов? Русская эта? Руки жилистые, сильные. Пусть чистит ковры и моет полы. Ей со служанкой говорить не о чем.

*

Анна старалась. У нее получалось. Ковры дышали влагой и чистотой. Полы блестели. Мраморная лестница сверкала чище брильянта. Иногда Анна видела, как репетирует Ифигения: украдкой заглядывала в просторную студию, где танцевала хозяйка.

Пируэт. Пируэт. Еще антраша. А это, какое красивое па! Будто птица летит! Гранд-батман.

Весь день у мадам Дурбин, а вечер на улице Руве. Там дети, и здесь дети. Спасибо Лиде, накормит-напоит. Чем дальше течет безжалостное время – тем стыдней, неудобней. Лидия ей

не нянька! Семен иной раз оставался дома. Он все не мог найти работу, и они жили на Аннины деньги.

Дети вечером – уложить спать, капризного Нику успокоить, улестить, усыпить длинной, как пряжа, сказкой. Сказку рассказывает Анна, а глаза слипаются, языком кружева плетет. Александра давно уже спит, сопит. На цыпочках пробраться в другую каморку. Семен не спит, глядит в потолок. А ее морит, убивает сон. Ложится рядом. Какая тут любовь! Нет объятий – их съела работа. Поцелуи нищета сожрала. Лежат рядом, вытянувшись, и каждый делает вид, что спит. По крыше стучат капли дождя. Это стучит время. Бом-бом, цок-цок. Каблучки неба. Небо ходит на каблучках дождя.

Встает тихо, чтоб не скрипнули ржавые пружины. Крадучись, идет к столу. Садится. Бумаги предательски шуршат. Громко, оглушительно скрипит перо. Господи, помоги мне написать эти слова. Господи, не отними у меня дар мой.

*Эмигранты, эмигранты,
Франты,
Таланты,
Поддельные брильянты,
Душ чужих оккупанты:
Громадные зрачки,
Пальцы что крючки,
Дрожат – рыба не клюет...
Под ногами – лед...*

Тише скрипи, перо! О, умоляю, Сема, родной, спи! Не терзай меня! Не вынимай душу! Она сама выходит, как кровь моя, в словах! Да и не слова это – горячие угли, слез потоки...

*Кто из вас поет,
Кто из вас подметки рвет,
Кто живого бьет,
Кто живет,
Кто не живет —
Эмигранты!.. эмигранты...
Золотые аксельбанты...
Кровь на губах...
Крест еля на лбах...
Хорошо, что в Париже
Есть большой русский храм...
Там поплакать можно нам...*

Господи помилуй, Господи поми-и-и-и-илуй... Они с Семеном уже побывали на службе в храме Александра Невского на улице Дарю. Священник, отец Николай, огромным золотым сугробом возвышался середь храма; гудел голосом, как колоколом, густым как вакса басом профундо. Рядом с Анной стояли люди. Русские люди. Как горько им тут было! Каким родным домом чужеземный русский храм казался!

*Кофе все жиже.
Небо все ниже
По утрам.*

Анна так и уснула – за столом, уронив лоб в сгиб руки. Перо выпало, черные брызги выпачкали десь бумаги.

Утром Семен встал, аккуратно собрал со стола горсть окурков. Анна курила только папиросы. Здесь, в Париже, покупала самые дешевые. Семен слышал, как она ночью кашляла – хрипло, влажно. Туберкулез в семье Царевых – наследственная болезнь. От нее умерли сестры Анны – Виктория и Евгения, еще в детстве. А она так много курит. Аннет, *ma chérie, ma petite*, что ж ты делаешь с собою.

*

Старая княгиня Маргарита Тарковская приехала из Парижа в Ниццу отдохнуть, поглядеть на море. Подышать солью, йодом. Посидеть на берегу в плетеном кресле. Помечтать о будущем, которого не будет, и поплакать о невозвратном.

Рауль так и увидел старуху-княгиню – кресло около самой воды, прибой, шурша, подползает к ногам, обутым по последней парижской моде: поглядишь – не поверишь, что этой стройной ножке под девяносто. А лицо все в мелких морщинах, будто сетку набросили на щеки, сачок для ловли бабочек с крупной ячейей. Милая старая бабочка-траурница, поймало время тебя! Теплый морской бриз поймал.

Юноша осторожно подошел ближе. В башмаки набрался песок.

В песок воткнул белый кружевной зонт. Голова старухи в тени, солнечного удара не будет. Порыв ветра уронил зонт на песок, кресло пошатнулось. Старуха беспомощно оглянулась, зимняя птица.

Рауль бросился, поднял зонт, опять в песок воткнул.

– Вам не жарко? – спросил по-французски.

– Ах ты Господи, – сказала старуха по-русски и губой отдула прядь белых волос с пергаментной щеки. – Мерси боку, мальчик мой! – по-французски бросила.

Рауль сделал еще шаг вперед, чувствуя, как весь дрожит.

– Вы русская? – уже по-русски спросил.

Княгиня Тарковская голову поднимала медленно – так медленно поднимают парус на рыбацкой шхуне.

– Я-то? Да, русская! Княгиня я! Маргарита Федоровна. А вы, молодой человек, тоже из эмигрантов? Здешний? Из Парижа?

На морщинистой коричневой груди блестели под солнцем гранатовые бусы. На высохшем птичьем пальце горел древний, должно быть, фамильный брильянт. И не боится она сидеть тут так одна?

– Я? – Рауль дернул горлом. – Я француз. Здесь живу.

– О, вы француз! Ваш русский великолепен!

Разговорились. Рауль сел у ног княгини на холодеющий песок. Вертел в пальцах круглую, как камешек, ракушку. Княгиня расспрашивала его обо всем: где учится, что любит, кто родители, о чем мечтает. Видно было – ей хотелось поболтать.

– Почему вы сидите тут одна? – смущенно спросил юноша.

– Я? А, да, я... Привезли, посадили и укатили! – Старуха сердито вздернула подбородок. – Через три часа придут, погрузят в авто, как вещь... и повезут... на дачу... Глядите-ка, мон шер, – сменила внезапно тему, – я ведь эти бусики сама сделала! – Цапнула сухой лапкой мелкие гранатики на шее. – И эту вот шляпку – сама! – Повертела головой, шляпка качнулась, появляя белая лилия. – А этот образок мне знаете кто написал? – Вытащила острыми коготочками из-под бус образок святителя Николая на грубой бечевке. – Сам господин Ругин намалевал, будто б истинный богомаз, даром что портретист, прости Господи!

Рауль глядел на образок, он самоцветно пылал в иссохших пальцах старухи; белая борода святителя метелью таяла, улетала, темное золото нимба вспыхивало тревожно.

– Юноша! Вам надо учиться в Париже, – сказала княгиня, как если б то было дело решенное. – Вы одарены! Вы – от Бога! У вас такой блеск в глазах.

Море било, било в песчаный берег рядом с ними. Длинный соленый язык прибоя докатывался до старухино кресла. Княгиня чуть повыше подпернула юбку.

– У моего отца денег нет на мою учебу в столице.

Губы сохли, глаза влажнели.

– Я помогу вам! Вы должны учиться в Париже! Вы должны увидеть свет! Деньги! Что деньги? Прах, тлен! Пыль! У меня много денег, и я скоро умру! Я на деньги свои в России музей собрала! Училище искусств открыла! Церковь выстроила! Больницу в вотчине своей, для крестьян! Какая жизнь была! Все разрушили. – Старуха медленно, как во сне, перекрестилась. Остро, орлино глянула на Рауля. – У меня хватит денег, чтобы выучить в Париже такого хорошего мальчика, как вы... как ты! – вдруг высоко, по-птичьи, крикнула она.

Рауль стоял, оглушенный. По щекам старухи слезы катились, крупные горошины, светлые гранатины. Сгорбленная спина тряслась в рыданиях.

– У меня... сына убили! У меня мог быть... такой внук...

Рауль бросился к ее ногам. Схватил старую холодную, даже на жаре, сморщенную руку и припал к ней губами.

*

Отец снарядил Рауля в Марсель – за покупками; список покупок тщательно составлен, и франки тщательно отсчитаны и еще пересчитаны пару-тройку раз. Прибыв в Марсель, Рауль, прежде чем побежать по рынкам и магазинам, решил пойти в порт, поглазеть на корабли. Белые большие океанские лебеди тревожили сердце, заставляли думать о том, чего не будет никогда. Или все же будет? Дальние страны, изумрудные моря, ручные обезьянки, плод дуриана в руках... Говорят, он вонючий, а начнешь ложкой черпать мякоть и есть – вкусней не придумать лакомства.

Порт, и корабли, и красивые девушки рядом идут, мимо. Он старался не смотреть на девушек. Взрослел, и густеющий пушок покрывал смугло-розовые щеки, и голос ломался, и томно, и стыдно было. Казалось: все девушки хохочут над ним. Запах моря волновал. Соль, и водоросли, и терпкий перечный йод. Йод, кровь Земли. Какого цвета Японское море? А Бенгальский залив? А Берингов пролив? Около Марселя море дикой, дерзкой, густейшей синевы. Поглядишь вниз с пирса – голова закружится, будто «Сен-Жозефа» глотнул.

Пришвартовался огромный пароход, белоснежный. «Из Нового Света!» – весело кричали портовые мальчишки. Махали в воздухе свежими газетами, раковинами-рапанами, самодельными бусами из мелких ракушек: купите, купите! На берег по трапу сходили пассажиры. О, долго же плыли они из Америки!

Рауль глядел во все глаза на вновь прибывших. Пестрая толпа! Кого тут только нет! Все цвета кожи. Вон идут две желтых узкоглазых китайки в смешных серых широких штанах. Важные господа спускаются по трапу, ни на кого не глядят, смотрят вверх голов, в такую-то жару – во фраках и манишках; верно, миллионеры! Жен под ручку держат. Сами старые, а жены молодые. Вон чернокожие, о, много их! Прибыло полку негров марсельских! В Марселе целые кварталы – негритянские; какие красивые мулатки по городу ходят, шоколадки! Рауль сглотнул слюну. Не думать о девушках!

Взглядом выцепил из толпы сходящих на берег странную пару. Глядел неотрывно.

Таких людей не видел никогда.

Она – кожа цвета кофе с молоком, роста небольшого, грудь высокая, а талия тонкая, как у стрекозы брюшко. Платье сумасшедшее: на плечах наверчены буфы – бабочкины крылья, грудь декольте, лиф весь полосатый – полоса алая, полоса желтая, полоса дико-синяя, полоса слепяще-зеленая! – а ниже юбка – атлас блестит, и тоже полосами, и в глазах рябит, мелькает – красные молнии, черные тучи, свежая зелень, куда там павлиньему хвосту! Юбка спереди короче, сзади длиннее. Руки голые по локоть. Высокая, как башня, шея оберчена ожерельем из крупных... *mon Dieu*, булжников! Глаза плеснули в Рауля – смолой обожгли! Ступает, будто танцует. Так ходят заморские огромные птицы марабу, живущие в пустыне! А волосы, ну и волосы! Иссиня-черные, вороново крыло, уголь и деготь!

Он – ухочечься: рядом с ней – толстый, кургузый мешок! Брюки – брюхо еле вмещают. Ворот рубахи расстегнут, в зарослях волос на груди крестик проблескивает нательный. Губошлеп, нос картошкой, подбородок – репой, уши – две морковки: рожа как для салата!

А за ними – слуги, должно быть, чемоданы несут. Знатная же у парочки поклажа!

Уродец обернул лицо к красавице и сказал что-то – едко, рассерженно. До уха Рауля донесся обрывок фразы:

– ...короткую стрижку!

Говорили по-испански, и Рауль понял эти слова.

Сразу за странной парой, за красавицей и чудовищем, на берег сходила еще одна пара, прибывшая на пароходе «Британик» трансокеанским рейсом через Атлантику из Нью-Йорка в Марсель.

Рауль, провожавший взглядом женщину-павлина, не обратил на них внимания.

*

Игорь Конев и Ольга Хахульская сходили по трапу на марсельскую пристань. Игорь крепко держал Ольгу за руку. В другой руке держал чемодан. Все их имущество теперь – один чемодан. Все его имущество теперь – одна Ольга.

Он красавчик, она балеринка. Оба еще вчера – знаменитые тангерос в Буэнос-Айресе и не менее славные карточные шулеры. В Буэнос-Айресе они держали полусветские, полубандитские салоны, где собирались по ночам картежники всех сословий и мастей – и играли, играли до одури. Табачный дым; мелодии танго, рвущие душу. Сеньорита Хахульская окончила когда-то Императорское хореографическое училище в Санкт-Петербурге. Ей прочили славу Анны Павловой. Революция забросала камнями, вывернутыми из мостовой, огни ее волшебной рампы. Ее воздушные балетные пачки сожгли на кровавых свалках, над расстрельными рвами.

Игорь подобрал рыдающую Ольгу на пароходе, уходившем из Питера – на Запад. Она сидела на дорожном, туго увязанном узелке: там лежала старая мамина шаль, детское Ольгино одеяло, две книги по искусству танца, кружка и ложка. Он присел на палубу рядом с плачущей девочкой, приобнял ее за плечо и тихо сказал: «Хочешь, будем вместе горе мы терпеть?» Ольга кивнула – ей все равно. А рука незнакомого мужчины такая теплая, крепкая.

За плечами Игоря Конева – два курса Московского университета. Отец-профессор хотел, чтобы он стал историком – как Грановский, Ключевский, Соловьев. Игорь потянул ляжку два года – и плюнул на гранит науки, сбежал от профессоров. Окунулся в жизнь богемы: стихи писал, на гитаре играть научился, морды обидчикам в кровь бить! Отец, Илья Игнатьевич, плакал,пил сердечные капли, раньше срока ушел на тот свет. Матушка Игорева давно умерла: рос сиротой.

На одной из богемных вечеринок девушку увидел: в глухом, под горло, мышинном сером платье, с армейской кожаной сумкой через плечо, вышла на середину комнаты, в круг света от оранжевого абажура, и так стала читать стихи – умопомраченье!

*– Посреди Армагеддонской улицы кривой
Я танцую с непокрытой, яркой головой.
Снег валится как из рога... белый виноград...
На костях домов убогих – свадебный наряд...
Ночь стекает черным маслом...
ведьминым питьем...
Век прекрасный, век несчастный,
мы с тобой уйдем.
Только танец я станцую прежде, чем убьют,
Прежде, чем из раны – крови —
в чарочку – нальют!
Черный город дышит вьюгой. Я под фонарем
Танец бешеный танцую с ноченькой вдвоем.
Умер мир, слепой и бедный: грады, села, весь...
Се, Армагеддон последний. Я танцую здесь.*

Помнил тугой, жесткий ритм стиха, вот начало навек запомнил. Вроде как вальс, и в то же время – суровый, рубленый марш. Вроде и женственный, гибкий танец, да отчего же так звенит пожарный колокол, лютый набат?

Эх, жаль, не спросил имя девицы; стихи прочитала, и в круг света под абажуром другие поэты полезли. Всем хочется выпялиться, вылезти. Слово свое сказать. Торопятся, будто вокруг глухие, никто не услышит!

Потом Игоря просили играть на гитаре. Он играл. Особенно ему удавались струнные переборы. Играл – и пел, приятным, теплым тенорком: «Белой акации гроздь душистые так аромата полны!» Аплодировали. Целовал девицам и дамам ручки. Одна дама, вот ее имя он запомнил, Эльвира Михайло-Михайловская, застрелилась из-за него. Модно тогда было стреляться, до революции. Смерть обожествляли. Поэты в честь ранней смерти стихи слагали.

А как пошла она, смертушка, косою махать направо-налево – все сразу неистово жить захотели.

Революция застала Игоря в Петрограде. Вместе со всеми шел под красными знаменами Февраля, на грудь красную атласную гвоздику прицепил: «Да здравствует Временное правительство!» Недолго музыка играла. Когда на излете октября стали всех стрелять, всех без разбору к стенке ставить, и голод начался такой, что мама не горюй, – понял: удирать надо тебе, сирота ты казанская, князь ты Игорь отшумевших вольных пирушек.

И вот плывут они на пароходе через океан, и плачет чужая девчонка у него на плече. Ох ты, чересчур уж худая! Да нынче все худые, все недоедают: немудрено отощать. Игорь запасся провизией: в его чемодане нашлись и сухари, и кусок сала, и даже, с ума сойти, копченая колбаска от Елисеева! «Друзья снабдили. Ешь!» – хмурился он на безмолвный Ольгин вопрос. Смолчал, что любовница последняя, питерская кафешантанная певичка Роза Киссель, заботливо засунула, свертки слезами облила.

Любили его женщины, что греха таить. Любили, а он их – не любил.

Пользовался ими, весело и жестоко.

Жестокое время, веселое. Военное.

Все время, всегда шла война, и они с Ольгой – на войне: солдаты, разведчики, стрелять в людей научились огнями хищных, хитрых глаз. Пароход прибыл в Лондон. Ольга стояла в лондонском порту, размазывала слезы по щекам и кричала Игорю в лицо: «Я больше никуда не поеду! Никуда!» На них оглядывались. Он крепко взял ее за локоть, и она замолчала.

У него еще оставались деньги. Ночью на пароходе не спал, руку к боку прижимал, стерег за пазухой плотно набитый бумажник. Купил себе и Ольге два билета до Буэнос-Айреса. В третий класс. Самые дешевые.

«Нам надо укатить подальше. Как можно дальше. Чтобы не нашли. И – чтобы не вернуться больше. Никогда».

Буэнос-Айрес обрушился на их головы пьяным водопадом. Все вперемешку – нищета и роскошь, море и звезды, голодную косточку глотать – и шампанское в узком бокале ко рту подносить. Бич времени больно хлестал. Надо было успеть! Ольга сказала Игорю: я умею танцевать, я могу зарабатывать танцем! Что ты умеешь-то, кисейная ты балетная барышня, захотал Игорь обидно, тридцать два фуэте?! Он думал – она заплачет. Нет! Засмеялась! Встала перед ним во весь рост. Гибкая, тонкая. Виноградная лоза.

«К черту балет! Я буду танцевать танго!»

Танго, о, постыдное, дымное, пьяное, еще недавно запрещенное танго. Танец для портовых рабочих; для отбросов; для грязного пролетариата. Это после полонеза, после мазурок-то! После туров вальса на балах в Смольном! Танго, более дерзкое, чем любовь напоказ; чем любовь втроем.

Ольга уже видела, как танго танцуют. В портовых кабаках Буэнос-Айреса сидела, пожирала глазами тангерос, нервно, жадно курила длинные дамские папиросы. Игорь выбивал щелчком папиросу у нее из пальцев. Папироса летела в недопитый стакан. Ольга брезгливо вытаскивала из стакана мокрую папиросу, омочив пальцы в вине, и бросала в лицо Игорю. И Игорь смеялся.

Он часто смеялся. Даже когда надо плакать – смеялся.

Давай станем двое тангерос, сказала Ольга однажды, когда они прокутили в таверне «Три матроса» последние песо, наблюдая, как резко, вот-вот хребет переломит, отгибает назад девчонку с нагло декольтированной спиной дюжий парень с наколками на мощных руках – может, грузчик, а может, портовый бандит. «Платье черное, спина белая, вырез сделаю, как у нее!» Игорь внимательно следил за танцующей парочкой. Что ж, это мысль, холодно кивнул.

Сказано – сделано. Ольга стала брать уроки танго. Наняла старую креолку, Хуану Флорес. Креолка в свое время слыла лучшей «ночной бабочкой» Ла-Платы. Красиво, страстно пела – хриплым, за сердце хватающим низким голосом. Танго владела в совершенстве: и танго милонгера, и танго лисо, и танго орийеро. «Прежде чем танго танцевать, тебе надо научиться танцевать хабанеру, детка! Потом – уругвайскую милонгеру! А потом, потом уже танго!»

Ольга беспрекословно слушалась сеньору Флорес.

Через два месяца она танцевала танго лучше самих Чилиты Санчес и Хосе Фиерро.

Ее первым партнером стал тот самый крепкий парень с татуировкой на запястьях, что танцевал в продыmlенном кабаке: Хуана сама навязала его Ольге. После первого танго, когда лицо прижималось к лицу, а Ольгина нога закидывалась высоко на бедро тангеро, парень, возбужденный, хрипло дышащий ей в лицо перегаром текилы и ямайским табаком, уволок ее в сарай рядом с домиком Хуаны. После ночи в сарае Ольга пришла к Игорю другой женщиной. Он не спросил ее, где она была. Она сама сказала.

«Ты меня бросишь?»

Он насмешливо, галантно встал на колени и поцеловал ее бледную, узкую руку.

«Никогда».

Прекрасно понимал: друг без друга им пропасть.

Игорь уплатил сеньоре Флорес сполна – и даже сверх договоренной суммы: искусство танго того стоило. Флорес научила Ольгу, а Ольга обучила Игоря.

Еще через месяц они выступили с камерным оркестром «Розамунда» на сцене буэнос-айресского театра «Колон». Аренду зала опять оплатил Игорь. Он не говорил Ольге, где он добывал деньги. Она и не спрашивала.

Зачем говорить о неприличном, о страшном? Аргентинцы молчаливый народ. Есть чему поучиться.

Выступление молодых тангерос произвело фурор. Выяснилось, что оба иностранцы – прекрасно говорят по-французски, и ни слова по-испански! Впрочем, на уличном испанском оба давно говорили, плохо, коряво, но бойко. Жизнь заставляла.

«Молчи, что мы из России. Говори – из Чехии!»

Ольга врала, улыбаясь.

У них брали интервью. К ним набивались в ученики. Игорь снял зал для уроков танго – с зеркалами во всю стену, с гладким, цвета меда, наощенным паркетом. Сам покупал Ольге танго-туфли – на высоком, как спица, каблуке, с узкой, как змея, подошвой.

Танцуйте, куколки, танцуйте. Ах, милые, так хорошо, умело дергают вас за веревки! За тонкие нитки! За лески! Натанцуетесь – ночью на гвоздях висите устало, понуро. Смуглые щеки, карминные губы. Ручки и ножки ватой набиты. И железное тело, костяное.

Ученики прибывали. Деньги потекли. Их самих приглашали выступать – на интимных милонгах, в блестящих концертных залах. Они не гнушались ничем: ни танго в борделе, если бандерша за танго-вечер отваливала щедрую плату, ни танцем в портовом баре – злчные места были для них родными, отсюда они начали свой аргентинский путь.

Сняли домик побольше, и даже с прислугой. Ольга обновила гардероб. Питались хорошо – уже не вчерашним хлебом с селедкой и бледным кофе на завтрак: на стол подавались трепанги, лобстеры, ананасы, ветчина, дорогая икра. Когда ели – друг на друга не глядели. Жизни текли вместе, но розно.

У Игоря были любовницы. У Ольги – любовники.

Если на них находило – безумствовали ночь напролет.

А потом месяцами спали в широкой, как танго-паркет, постели, отвернувшись друг от друга.

Ольга звалась в Буэнос-Айресе – Долорес де лос Анхелес.

Игорь – Франсиско Лусифер.

Ангел и демон. Лед и огонь. Ложь и правда.

Не отличишь.

*

А теперь они, крепко держась за руки, сходили по трапу на землю Франции.

Зачем они прибыли в Европу? Зачем Ольга взхлеб плакала, стоя на коленях перед Игорем, в их белоснежной, отделанной мрамором гостиной, в виду застланной свежевывглаженной скатертью столешницы – блеск тарелок, звон бокалов, серебро вилок-ложек, лучшее чилийское и аргентинское вино в темных узкогорлых бутылках, – умоляла: вернемся, вернемся, не могу больше! Он дрожал бровями. Молчал. Мрачнел. Выдохнул: «Вернемся. Не в Россию. В Европу. В России делать нечего. Там Сталин. Тебя убьют сразу, как сойдешь на пристань».

Ольга уткнула лоб ему в колени. Так сидели: памятник горю.

Дом пока продавать не стали. Ключ от дома оставили сеньоре Флорес. Она махала руками: детки, не сторож я дому вашему, я скоро умру! «У нас тут никого нет роднее вас», – отрезал Игорь.

Трап пружинил под ногами. Ольга прижалась боком к Игорю.

Нога в узкой аргентинской туфельке ступила на землю.

– Франция, – засмеялась Ольга, – ура! Что нас ждет?

– Картежниками снова станем? Только в марсельском порту! – весело крикнул Игорь.

На их русскую речь оглядывались. Ольга бросила по-французски:

– Гляди, какая очаровательная мулатка!

– Где?

– Вон, справа идет.

Игорь оглянулся на высоченную, выше его ростом, смуглую девушку с баранье-курчавой головой и губами, как два сложенных вместе банана.

– Ничего хорошего! Обезьяна и есть обезьяна!

– Говори лучше по-русски. Услышит и обидится!

Мулатка и правда услышала. Поняла: обсуждают ее. Выше вскинула кудрявую голову. Выпрямилась, как струна. Гордо вперед пошла, и круглый крепкий зад вызывающе вертелся под слишком короткой юбкой.

– У нее ноги как у бегуни.

– А может, она и впрямь спортс-вумен.

– Где остановимся?

– В любой гостинице. Я устала. Я здесь долго не продержусь! Жара! В Париж хочу.

*

Поезд шел с юга на север. Из Марселя – в Париж.

Поезд стучал колесами на стыках и кренился, поезд взлаивал короткими гудками и замедлял ход; а потом опять набирал, и летела паровозная гарь в открытые окна, и люди, ругаясь, ворча – ах, какая жара стоит невыносимая! – закрывали окна, вытирали закопченные, черные лица платками.

На деревянных сиденьях вагона сидели пассажиры, тоскливо глядели в окно, на выжженную землю и густоволосые сосны, на реки и озера, на древние замки и крестьянские хижины. Глядели друг на друга. Скрашивали беззастенчивым любопытством длинный, тоскливый путь.

Рауль не сводил глаз с женщины-павлина. О чудо, он купил билет, и место – прямо напротив нее! Чудовище, муж ее, спал. Храпел на весь вагон.

Павлиниха не глядела на бедного, бледного юношу в скромном черном костюмчике. Пусть ест ее глазами! Пусть выйдет в тамбур, остынет.

Она глядела на красавчика, что сидел рядом с юнцом.

У красавчика тонкие усики над верхней губой и очень белые зубы. У красавчика смуглые скулы и длинные, как мальки океанских рыб, густо-сине-черные, морские глаза. У красавчика волосы мягкие, как масло, как темное оливковое масло; должно быть, в ладони польются, если подставить.

По левую руку красавчика восседала его красотка. Начхать на красотку! Косится. Фыркает. Дикая кошка должна фыркать! Царапаться тоже должна.

Игорь ловил глазами в окне горы, долины, дороги. Толстопузый муж павлинихи сладко спал. Мальчик в черном костюмчике судорожно сжимал потные руки под полый бедного пиджачка. Толстяк проснулся, потянулся, вытащил из кармана трубку, открыл вагонное окно и закурил. Хлопья паровозной сажи опять полетели на головы, на плечи пассажиров.

Павлиниха, смерив муженька надменным взором с ног до головы, резко захлопнула окно.

Пузан все равно упрямо докурил трубку.

Мальчик отгонял табачный дым рукой от лица.

Павлиниха зло вытащила из сумки разноцветный, как она сама, веер, обмахивалась им.

Ольга нагнулась и вытянула из чемодана рукоделье – моток черной шерсти, деревянные спицы.

Сидела и вязала черное аргентинское пончо.

Поезд трясло, и Ольга не всегда попадала концами спиц в петли.

Тогда павлиниха скалила зубы, речные крупные перлы, в звериной, наглой улыбке.

– Фрина, – проворчало чудовище, – выбей в окно трубку!

Павлиниха обернулась быстрее молнии.

– Я не твоя служанка, Доминго, – спокойно, весело сквозь зубы процедила.

Глава третья

*Россия моя! Меня выстрел сразил, Шатнулся мой конь подо мною,
И крест золотой меж ключиц засквозил Степную звездой
ледяною...*

*И я перед тем, как душе отлететь,
Увидел тебя, Голубица:*

В лазури – церквей твоих нежную медь, Березы в снегу, как Жар-птицы!

Анна Царева. «Дух белого офицера взирает на Россию нынешнюю»

Это сон. Только сон.

Вихри батиста, и легкие широкие шаги, и руки мужчин за спиной, на поясице, в белых перчатках кавалеры, в белых перчатках до локтей – дамы, море улыбок, разлив музыки.

Бал, Господи, бал.

Вихри летят, вихри сшибаются, скрещаются клинками глаза, стреляют из-под бровей, летят копыа лучей из широко распахнутых глаз: солнце, так много солнца, а это люстры, люстры всего лишь, яркие люстры под потолком с мощной лепниной! Все плывет и качается, и важно не сбиться с ритма. Раз-два-три, раз-два-три, раз... У вальса есть пустота, пропуск в биении сердца. Аритмия. Раз... а где два-три? Не вдохнуть. И выдоха не надо. Ты – ветер, ты – воля; ты – вольная музыка, и тебя, лодку, река музыки несет и уносит.

Бал. Бал во дворце. Зачем так было?

Никто не знает.

Куда все кануло?

О, если бы знать.

Улыбка сквозь бороду, и серая синь спокойных светлых глаз, и сильная рука на твоей талии; тебя ведут, ведут в привольном танце, и ты еле успеваешь перебирать ногами, поспевая за кавалером. Никто не удивляется, что Царь танцует с тобой. Какая честь! Ты запомнишь этот вальс на всю жизнь.

Что такое – вся жизнь?

После тура вальса бородатый офицер, твой Царь, кланяется тебе. Ты, задыхаясь, приседаешь в реверансе, часто поднимается в вырезе белого платья твоя полудетская грудь. Царь вынимает из кармана странное, остро блеснувшее, витое. Витую спираль. Да, браслет. «Я дочери купил! Но возьмите. Носите. И – помните».

Нежная змейка. Кованое серебро.

Змея на ее тонком, как ветка, запястье.

Ты хочешь что-то сказать, но не можешь вымолвить ни слова. Ни слова.

Зачем слова, когда – танец? Змея, это время. Она ползет, кольцами тела отсчитывая время, измеряя. Холодом охватило руку. Холод. С люстры падает холод. Лед и снег. Свет обращается в лед. Волосы снегом летят. У тебя снежный наряд! Когда и где метель могилу твою занесет? О девочка, не скоро! Это было давно. До рожденья. Ты будешь жить всегда.

Еще вальс. Еще полонез. Мазурка. Закрываешь глаза.

Перед глазами плывут серые, серебряные крыши изб. Мертвые черные поля. Бинты снегов. Сахарные головы сугробов. Родина твоя. «Я хочу умереть на Родине, если надо будет умирать». Смерть – черная ягода смородины в Царском варенье, в розеточке, на подносе в руках лакея. Умирают Цари. Ты простая, и ты будешь жить. Долго. Вечно.

Это сон, родная. Лишь сон. Господи, молю, до срока его не прерывай.

*

Ифигения Дурбин захотела покататься с детишками в авто. Намеревалась проехаться до Булонского леса и обратно. Дети должны дышать свежим воздухом! Париж такой задымленный город! Легкие здесь чернеют! Надо проветривать тело и душу!

Набрала, с помощью Лизетт, в корзины всяких вкусностей: и икру лосося, и голубой, терпко-соленый козий сыр, и камамбер, и резанные ананасы, и красное ронское вино, а детям – в бутылках – соки и сливки! Шофер ждал у подъезда, милый, славный мальчик, рыжий как костер, и на носу просо веснушек.

Женщины тащили корзины. Шофер бросился помочь, выпрыгнул из машины.

А дети вылетели из подъезда, две яркие бабочки, и – в авто впорхнули!

Сезар сел за руль. Русые локоны вились.

Ренетт угнездилась рядом, смотрела на братца, как на Санта-Клауса в Рождество.

– О-ля-ля! Поехали!

Сезар руки на руль положил. Так просто, шутя.

Нога в бархатном башмачке сама нажала педаль. Автомобиль взмукнул и тихо поехал вперед.

– О-о-о-о! Едем! Ура!

Улица скатывалась крутым выгибом вниз, к Сене. Машина катилась все быстрее, набирала ход. Дети веселились, Ренетт пыталась вырвать руль из рук Сезара: дай, я! Я тоже хочу!

Рыжий парень, шофер, сломя голову бежал за машиной, орал как безумный, звал на помощь, догнать не мог.

Когда авто, вместе с детьми в нем, скатилось по берегу в Сену, по каменным ступеням, ведущим в темную воду, грузные, похожие на пузатые бутылки ноги Ифигении сделались воздушными, бесплотными, и она села на крыльцо дома, с корзиной еды в призрачных руках. Она видела, как утонули ее дети.

А ей казалось: она ослепла.

Шофер влез на Эйфелеву башню и бросился вниз, убоявшись суда. Лизетт накупила много мелких белых роз. Детей и рыжего шофера похоронили на кладбище Пер-Лашез. В двух гробиках лежали они, ангелочки, убранные кружевами от Андрэ и белыми розами. Со дна Сены их доставали баграми и повредили им ребра и спины, но лица остались нетронутыми, чистыми.

*

Анна сидела за столом, обняв голову руками. В пепельнице дымился окурок.

Она так всегда сидела, когда ей плохо было.

Аля сегодня пришла из школы мадам Куто домой и сказала: мама, я теперь буду ходить на балетные занятия! Анна глядела непонимающе: какой балет? «Мама, я уже записалась! Мадам Козельская такая чудная! Вы только не ругайтесь!»

– Кто такая мадам Козельская, черт возьми?

Папироса прыгала в желтых сухих пальцах.

– Казимира Козельская, мамочка, ее весь Париж знает! Она балерина. Она русская!

– Какая же русская, когда полька!

– Нет, русская! Она танцевала в России в Императорских театрах! В Мариинке! Она... – Аля запнулась, не знала, как высказать чужую тайну. – Ей... Царь букеты дарил!

– А, Козельская. – Анна глубоко затянулась, устало бросила папиросу в пепельницу. Табак царапал горло. Терпела, не кашляла. – Понятно. И кто ж платить будет, дитя, за твои уроки? Нам нечем платить Лидии за постой! Она терпит нас из жалости! Мое жалованье все

уходит на еду! Может, вместо того чтобы брать уроки, ты бы лучше стала их давать, а? Твой французский хорош. Ты прекрасно знаешь историю, географию. Ты могла бы и русский преподавать! Сходи на рю Дарю, погляди объявленья, может, что и найдешь!

Анна злилась откровенно, тряслась от негодованья. Аля бесстрашно подошла и прижалась крутым, как у бычка, круглым лбом к плечу матери.

– Мамочка, вы не волнуйтесь так! Мадам Козельская сказала – у меня талант! Она сказала: буду давать вам уроки бесплатно... потом как-нибудь отработаете! Мама, у нее в классе такие девочки, такие! – Аля захлебнулась от восторга. – Японочка одна, прелесть! У ней глазки такие узкие, узкие, как рыбки! И еще – индуска! Индуску зовут Амрита, а японочку – Изуми!

– Тихо, тихо, Аля, я все поняла, сейчас прыгать начнешь? Не верю, что мадам Казимира будет тебя без денег учить!

Анна хорошо вспомнила ее. Крошечная, изященькая, сама как японская куколка, и глазки по-японски подводила, даром что из Кракова родом. Да, ей Царь последний, расстрелянный, тогда еще Цесаревич, рукоплескал. И что? Сначала в объятьях Цесаревича побывала, потом в объятьях его дяди, потом – в объятьях брата; и брат Царя заключил с неунывающей крошкой-балериной морганатический брак. Они тайно обвенчались в Италии, в Риме. Анне об этом еще в Праге Заля Седлакова поведала. Волнами, кругами разбегались слухи по поверхности чужбинного темного моря.

– Я с отцом поговорю!

– Мама! Не надо! Я уже поговорила!

– Где я тебе пуанты куплю?!

– Мне мадам Казимира дала уже!

Аля с торжеством выхватила из сумочки бело-розовые пуанты. Развязанные ленты махнули перед носом Анны. В каморке запахло нежными, томительно-сладкими духами.

Аля бегала на занятия к мадам Козельской два раза в неделю. Собиралась, как на праздник. Анна на поломойство к мадам Дурбин – Аля на балет. «Чудненько, – мрачно думала Анна, трясаясь в автобусе по серым от вечного осеннего дождя улицам, – мать на поденку, дочь – ногами дрыгать!» В глубине души – рада была: у девочки появилась отрада. Все отдохнет от капризов Ники, от ворчбы матери, от вечно тоскливого, обреченного взгляда отца, – сидит часами, уставившись в стену, молчит. Только громко, пугающе вдруг хрустнет пальцами, стиснет ладони.

О, так интересно было в классе у мадам Козельской! Стены все из зеркал, зеркала в ряд. И девочки в ряд стоят, и держатся руками за балетную стойку – длинное такое, вдоль зеркал, бревно. На всех юбочки, короткие или ниже колен, легкие, так, чтобы ноги двигались свободно. А кое-кто и вовсе в туго обтянутом, неприличном трико. Мадам подходит, ласково руку на крестец кладет: прямее спинку, прямее! Без прямой спинки не сделаешь фуэте! Все девочки обуты в пуанты, щиколотки крест-накрест перевязаны розовыми ленточками. В углу зеркальной комнаты – старый белый рояль. За ним горбится тапер. Девочкам жалко старика: он играет им час, два, три часа без перерыва. Ум-па-па, ум-па-па, ум-па-па, ум! «Выше! Выше ногу!» – кричит по-французски мадам Казимира. А потом подходит к Але, гладит ее по голове и шепчет по-русски: «Умница, детка».

У мадам Козельской никогда не было детей. А сейчас уже старенькая, и детки у ней уже не родятся. Время ушло.

Аля вздергивает ногу выше головы. Ей это не трудно совсем. Гибкие косточки, свежие мышцы. Есть девочки младше нее. Вот эти, что с Востока. Изуми и Амрита, Амрита и Изуми. О, японочка чудесная! Она похожа на дынную косточку! А индуска – на медную статуэтку богини Лакшми, что стояла когда-то давно, в Москве, у них дома, в Борисоглебском переулке. Мать сказала: дом тот взорвали и сожгли. Что сделали с Россией? Теперь это Советский Союз. Говорят, там детям на грудь надевают красные галстуки!

– Амрита! – кричит мадам Козельская. Голос у нее похож на звук тонкой деревянной флейты, так нежен, сух и приятен. – Прошу, еще раз! Месье Роже, прошу, первый такт!

Старик за белым роялем берет аккорд. Руки – грабли, гребут к себе сухую, душистую музыку: полевые цветы, колосья, трава, шмели, жара, марево в синем, золотом воздухе. Счастье мое, где ты?

Индуска Амрита обряжена не в юбку – на ней воздушные шаровары, просвечивают смуглые тонкие, стрекозиные ножки. На Изуми черный лиф и белая газовая юбочка. Изуми разводит руками в стороны, будто хочет кого-то обнять.

Аля тоже разводит руками: это такое балетное па. Все девочки становятся, по приказу мадам, в третью позицию. Аля уже знает: Изуми и Амрита живут в детском приюте на рю Сент-Оноре. Они уже сказали ей об этом.

– Выше ногу! Выше!

Дома, за ужином, Аля трещит без умолку, поглощая овсянку, рассказывает о восточных куколках, красотах! Анна ест молча. Семен молча несет ложку ко рту. Ника, насупившись, отодвигает от себя тарелку с кашей.

– Мапочка, если б вы видели, какие они хорошенькие! Мапочка, если б вы знали, как им плохо живется в приюте! Мапочка...

– В приюте? – Аннины брови лезут вверх. Морщины прорезают лоб. Она бросает ложку на стол. – В приюте?

– Да, мама, они сиротки!

На другой день, когда Анна пришла к мадам Дурбин, она не стала выбивать ковры и мыть полы. Она пошла к мадам Дурбин в студию. Распахнула без стука дверь. Ифигения, в тунике выше колен, стояла у зеркала и плакала. Плакала горячо, безобразно, со всхлипами, подвывая, царапая ногтями напудренное, похожее на клоунскую маску лицо.

– Мадам, – сказала Анна холодно, – я имею вам нечто сказать.

Дурбин оторвалась от созерцанья себя в зеркале. Тряся бедрами, как ожиревшая лошадь крупом, подбежала к Анне.

– Ну что?! – заорала. – Что вам всем от меня надо?!

– В детском приюте живут две девочки. Одна индуска. Другая японка. Лет двенадцати обе. Они сироты. Возьмите их. Удочерите.

Аннин голос леденел и твердел. Она не выносила рыданий.

Видела, как глаза Дурбин вспыхнули изнутри желтым кошачьим светом, загорелись – ожили.

– Адрес приюта!

Дурбин, как и Анна, не любила говорить долго и подробно.

– Сент-Оноре, двадцать.

Когда звезда Ифигения Дурбин прикатила в приют на рю Сент-Оноре на своем шикарном шевроле, все всполошились, забегали по лестницам, застучали дверями. Шутка ли, сама мадам Дурбин берет к себе сразу двух детей! Нужные бумаги состряпали в один миг. Не надо было ждать завтра. Остальное довершили купоры, перетекшие из муфты мадам Дурбин в дрожащие кулачки мадам Кармель, держательницы приюта.

Ифигения крепко взяла девочек за руки – смуглую и нежно-желтую – и повела по лестнице вниз, вон из казенного дома, к лаковому авто. Изуми подняла к Дурбин узкое личико, похожее на дынную семечку, и тихо спросила:

– Вы будете нам мамой?

Ифигения подошла к автомобилю, шофер угодливо распахнул дверцы, она втокнула на заднее сиденье девочек, грузно плюхнулась рядом с шофером. Ее шею, уже одряблую, в слоновьих складках, обматывал длинный прозрачный шарф, завиток ледяной метели. Она обернулась к детям и сказала жестко, чтобы не расплакаться:

- Зовите меня мамой. И только так.
- Хорошо, маман! – робко сказала Амрита.

Дурбин глядела в лобовое стекло авто и кусала губы, но слезы все равно ползли, проклятые, по дряблым, опухшим щекам. Ее дети были младше этих девчонок. Все равно. Ей уже все равно.

*

В русском храме Александра Невского на улице Дарю служили Литургию Иоанна Златоуста.

Анна любила обе православные Литургии, и Иоанна Златоуста и Василия Великого, но разницы особой меж ними не видела: Иоаннова служба была чуть дольше, чем Васильева. Сегодня служил отец Николай Тюльпанов. Восклидал зычно, гудел органно, гремел Аллилуйю, возглашал вкусным, громоподобным басом: «Во-о-о-оннем!»

Огромная толпа стояла, колыхалась. Молилась.

Здесь, в русском храме, они все были – одно.

Без распрей. Без зависти. Без богатства и бедности. Без сплетен и шушуканий. Без убийств и проклятий. Без счастья и горя. Лишь с одним в груди: с Россией.

Анна стояла, беззвучно повторяла за батюшкой слова наизусть выученной службы, медленно, сурово крестилась. А потом ее губы начали говорить свое. Не божественное.

«Вижу, все вижу, родная моя. Глотки да крикнут! Очи да зрят!.. Но в ночи бытия обрызникнут... Вижу, свидетельствую: то конец. Одр деревянный. Бражница мать. Доходяга отец. Сын окаянный. Музыка – волком бежит по степи, скалится дико... Но говорю тебе: не разлюби горнего лика!»

Опять стихи. Опять они, и даже в церкви! Нет, и вправду грешница она.

«Мы, человеки, крутятся и мечась, тут умираем лишь для того, чтобы слякоть и грязь глянули – Раем!»

Покосилась на рядом стоящую. Важная прихожанка. Шея обвернута пушистым боа. На шее – жемчуга. Шапочка панбархатная, с вуалью, и вуалька жемчугами вышита. И платьице – от Жан-Пьера Картуша. А может, и от самой Додо Шапель.

«Вертят богачки куньи хвосты... Дети приюта... Мы умираем?.. Ох, дура же ты: лишь на минуточку!»

И священник о бессмертии запел. О блаженстве жизни вечной. Боже, зачем в Литургии эти панихидные, надгробные слова?! Она бредит. Грезит. Душно здесь. На воздух!

«Я в небесах проживаю теперь. Но, коли худо, – мне отворяется царская дверь света и чуда, и я схожу во казарму, в тюрьму, во плащ-палатку, чтоб от любви, вперяясь во тьму, плакали сладко... чтобы, шепча: „Боже, грешных прости!..“ – нежностью чтобы пронзаясь до кости, хлеб и монету бедным совали из потной горсти... горбясь по свету...»

Стихи шли из нее на волю, так река по весне грубо взламывает корку льда и выходит из берегов.

Аля испуганно следила, как мать проталкивается ближе к выходу. Аннино лицо было бледно голубой, смертной бледностью. Семен стоял ближе к аналою и не видел, что Анне плохо. Нику оставили дома, с Чекрыгиной: в храме он выдерживал от силы десять минут, потом плакал, орал и бил ногами.

Православная монашка с лицом дородным и веселым, туго повязанная черным апостольником, смотрела, как горбоносая женщина в траурном длинном платье и небрежно накинутом на голову белом шелковом платке пробирается через толпу к приделу Божьей Матери Владимирской. Священник в черной рясе рядом с монашкой широко перекрестился и тоже проводил горбоносую глазами.

– Молодая вроде, а вся седая, – шепнула монашка.

– Знаю ее, – шепнул священник в ответ, – это Анна Царева, жена Семена Гордона. Помню ее по Москве. Я дружил с ее отцом, Царствие ему Небесное. Молитесь, мать Марина, и молитвой ответят нам святые на небесах!

– Я молюсь, отец Сергей.

Крестились усердно. Пели вслед за отцом Николаем: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым!» В толпе стоял весь Русский Мирь, что Господней волей переселился сюда из расстрелянной, погибшей России. Здесь стояли и молились актриса Дина Кирова и ее муж, князь Федор Касаткин-Ростовский; Дина недавно открыла в Париже «Интимный театр», и даже публику собирала, и шли люди, даром что спектакли на русском языке ставились, а актеров – раз, два и обчелся! Молился, втыкая щепоть в лоб и плечи, бывший волжский грузчик Левка Гужевой, ставший в Париже режиссером синема Львом Головихиным. Молился, на колени вставал тощий легкий летний зонтик, соломенная шляпа-сомбреро, повеса и франт Олег Кривуля – ветром судьбы его в Париж занесло еще до революции, да так тут и остался, да не сделал карьеры, и так прошамберничал, прокутил-прожег золотое жизни времячко, да и ну его совсем, а как прекрасно быть бродягой, авантюрьером, вечно жить на чердаках да в подвалах, питаться вместе с клошарами на благотворительных храмовых обедах: свобода, свобода дороже всего!

Истово молился великий певец Прохор Шевардин: он от красного террора из Питера еле ноги унес со второю семьей, и Париж ему домом стал, да вот только родиной не станет никогда. Пел Шевардин в лучших оперных театрах Европы и Нового Света, летал с гастрольями и в Пекин, и в Токио, и в Шанхай, и в Каир, и в Буэнос-Айрес, и в Монтевидео, весь мир повидал, – а найдет тоска, и стеснит горло, и закроет широкое лицо широкой, мужицкой рукой, и так сидит за неприбранным столом, и тихо, тихо поет: «Ах ты, степь моя-а-а-а... Степь привольна-а-а-а-я!.. Широко ты, ма-а-атушка... расстила-ла-ся-а-а-а!» Бисер слез сыплет из-под руки. Домашние сидят, не шелохнутся. Прохор допоет – и лицом в скатерть: зарывает так, будто вулкан горячую лаву выплеснет на чашки, ложки серебряные, приборы мейссенского фарфора. Что слава и богатство, когда Родины нет?

Молилась, крестилась в толпе прихожан и толстая Танька Родионова, торговка с харьковского рынка; она до Франции добралась кое-как – бежала по льду Финского залива с полуживым, раны кровью под бинтами сочились, поручиком Усольцевым, Усольцев умер в Гельсингфорсе, Танька вдосталь наработалась портовой шлюхой и в Турку, и в Стокгольме, и в Гамбурге, по-немецки балакать выучилась, под кого только не ложилась, и под генералов, и под жонглеров, и под метрдотелей, о, это было самое выгодное спанье: и стол, и кров. Последний любовник сделал ей паспорт на имя немки Татьяны Шиллер. «Почему у вас русское имя?» – спросили ее на границе. «Моя добрая муттер обожала русского поэта Александра Пушкина! – гордо ответила Танька. – Она назвала меня в честь Татьяны из поэмы, о, как это, „Эуген Онэгин“!» А-а, Пуськин, Пуськин, закивали головами французские пограничные чиновники, да, знаем, шарман, сюперб! И пустили Таньку во Францию.

И, во Франции оказавшись, вышла Танька замуж не за кого-нибудь, а – за безногого инвалида, бывшего великого спортсмена Шарля Дерена, и катала его отныне в кресле на огромных серебряных колесах, и кряхтела, с кресла на кровать перекладывая, и утку ему ночью неся, и судно, чтоб облегчился он; и счастлива она была замужеством своим, у Дерена деньги водились, еще водились, да инвалидную пенсию ему правительство выплачивало, так и жили, хорошо жили, слава Богу, слава Тебе, Иисусе Христе! Золотое колечко на пальце. Ночью ворочается, как медведь, жалобно стонет в постели Шарль, зная – недолго уже осталось. И встает Танька, и в ванную комнату бежит, отделанную белым модным кафелем, и кран отворачивает на полную катушку, чтоб шум ледяной воды заглушил ее крики и слезы.

– Господи Боже наш! Слава, слава Тебе!

Стоял и молился художник Кирилл Козлов, что дружил не разлей вода с Прохором Шевардиным. Вместе когда-то под Ярославлем судачков на удочку ловили. В «Яре» – свежую осетровую икру под водочку ложками кушали, цыганочек целовали, монету им бросали. Стояли и молились тангера Ольга Хахульская и аргентинский бандит Игорь Конев – далеко от аналоя, в дальнем углу, под иконой св. Блаженной Ксении Петербургской, и отсюда им не видно роскошного, горящего сусальным золотом иконостаса. Стоял и молился пролетарский писатель Матвей Крепкий, он приехал в Париж погостить на недельку, да так тут и застрял, не желал возвращаться. Молилась семейная пара – Глафира Боярская и Ростислав Разгулин, она – певица, он – дирижер с мировым именем, оба честь и слава России – и лютая, зверья ненависть СССР: тот, кто стоял у руля в Советском Союзе, проклял их и лишил гражданства. Молился великий танцовщик Войцех Хакимов – сын польки и татарина, он давно крещен в православие, еще при Царе – звезда Парижской оперы: на спектакли с Хакимовым невозможно достать билета, народ ломился, портьеры обрывал. Стояли за Хакимовым и молились два чудных живописца – Михаил Шиндяйкин и Григорий Канцлер: на Шиндяйкина недавно покушение было, неизвестный бандит изрезал ему щеку, и теперь на щеке красовался шрам в виде креста. Стоял безумный Марк Новицкий, за одну его картину на аукционах давали сотни тысяч франков, а он, может, последний раз в родной храм пришел, так плох уже был: изможденный, не мог уже есть, такие боли терпел, на стене – рукой – жемчужину ловил: укатится, держи!

Огромный, высоченный, стоял поэт Валерий Милославский: прибыл в Париж читать стихи – прославлять в логове капитализма великую красную державу; и влюбился тут как мальчишка, глупо, бесповоротно. В русскую девушку влюбился! В дворянку Тонию Гриневу, эмигрантку! А как же, товарищ Валерий, заветы революции? Дворянам – бой, а ты? Стоял дородный писатель Алексей Ланской: тяжело крестное знамение творил, одышка мучила. А сзади, за спиной его, стоял и мелко-мелко, бормоча молитву, как заклинанье, осыпал себя солью из сухой щепоти маленький, никому не известный писателишка, именем Александр Култин; так стояли и молились вместе – славный барин и мелкая сошка, и рассказы-то култинские точно забудут, никто не прочтет никогда: кому в Париже нужно тихое, неслышное русское слово? И за ними стояли и молились двое: он с рыжей бородой, она с жемчугами на шее, старые, да бодрые; когда дама крестилась, рукав сползал вниз, к локтю, и обнажались напоказ рваные, страшные шрамы.

И ближе всех к аналою сидела, вроде как безногий Шарль Дерен, в таком же никелированном кресле на колесах древняя старуха – о, какая старуха! Седые кудри, букли, дым, прах, уложены тщательно. Щепочка блестит в дубовой темной коре морщин. Прозрачная батистовая кофта. Сквозь легкую выюгу ткани – вся шея, грудь в рубцах. Били! Кололи штыками! Стреляли!

Не убили. Синий сапфир в оправе из мелких брильянтов горит на скрюченном пальце.
В подлокотник вцепилась. Руку ко лбу поднимает. Пальцы уж сложила в щепоть.

– Блаже-ни ни-и-ищие, ибо есть Ца-а-арствие Небесное!

А, Великая Ектенья пошла. Губы все повторяют. Глаза блестят.

В духоте, в полутьме – живой любовью слезятся.

Старуха осеняет себя крестным знаменем. Лоб; правое плечо; левое плечо; грудь. Больно ударяет щепотью себя там, где сердце.

Не прокололи штыком. Не смогли.

– Блажени пла-а-чущие, ибо тии уте-е-ешатся!

И вслед за старухой крестились рядом стоящие Великий Князь Владимир Кириллович, вдовствующая Императрица в изгнании Мария Феодоровна, прибывшая на пароходе в Париж из Стокгольма на шумную завтрашнюю премьеру русской оперы в «Гранд Опера», и маленькая доченька Князя Владимира Машенька, золотая Мари, ласковая чернушечка: чуется в девочке грузинская кровь, недаром у ней в роду князя Багратионы.

А за ними стояли и молились призраки убитых Царей.
Стояла вся Царская убиенная невинно Семья и молилась.
Никто не видел.

А может, это детки, детки малые, взрослые взяли их в церковь с собой, дома не с кем оставить – няньки нет, бабки и деда нет, умерли все, всех убили, – играли в куклы, в куклы. В Царей играли; в принцев и нищих; играли упоенно, куколок в крашенные личики целовали, к груди прижимали, сидя на корточках, как обезьянки, на церковном холодном полу.

И только Анна, пробравшись к выходу, к свежему воздуху, и оглянувшись на темное море русской толпы в осиянном золотом икон и музыкой единой соборной молитвы, теплом соборе, на миг увидела Семью.

А рядом с иконой Божией Матери Донской стоял и молился Рауль Пера. Он прибыл в Париж две недели назад и остановился в дешевом отеле «Паладин». На него косился толстенький, кругленький как шар человек в черной тройке, круглый черный жук-плавунец: Рауль крестился по-католически, слева направо, и жук-плавунец тарасил круглые глазенки, дергал бровями, сопел смешно, возмущенно.

Запели «Иже херувимы». Рауль посмотрел на толстячка. Толстячок принял его взгляд сначала сердито, потом круглые глазки под выцветшими кустами бровей зажались добрым смехом. Еще не перекинувшись и парой слов, они уже подружились: глазами.

– Иже херувимы... тайно образующе... и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение...

Еще молились, еще плакали и пели. Воздух в храме дрожал от сотен теплых дыханий, от беззвучных шепотов, стоявших слезным маревом, горьким свечным нагаром.

– Тело Христово приими-и-и-ите... источника безсмерт-на-го... вкуси-и-ите...

Причастники, сложив руки на груди, потянулись к отцу Николаю, его золотая риза струисто, нежно переливалась, вспыхивала звездными огнями в свете сотен свечей, озарявших полумрак храма.

Отец Николай совал в рот причастникам золотую лжицу со Святыми Дарами. Рауль тихо отступил в тень. Стоял за жарко пылающим паникадилом, блестел глазами. К Причастию подошла горбоносая женщина в траурном платье и белом платке, низко склонилась, поцеловала позолоченный потир. Выпрямилась, и слезы блестели на ее глазах.

«Наверное, кто-то умер у нее», – подумал Рауль. Толстяк стоял рядом с ним, вздыхал.

– Вы не причащаетесь? – спросил по-русски Рауль.

– Я не исповедался, – прошептал толстяк и опять тяжело, глубоко вздохнул. – Отец Николай без исповеди к Причастию не пускает. Ну, ничего, в другой раз. В следующее воскресенье. А вы католик? Что ж вы... тут?

– Я люблю Россию, – шепнул в ответ Рауль. – Православие... привлекает меня... я бы... Не договорил: «Я бы принял его».

– А я вот вынужден любить Францию. – Толстяк достал из кармана смокинга огромный носовой фуляр и шумно, смачно высморкался. – Молодой человек, приглашаю вас ко мне отобедать! Я вижу, вы южанин! Вы давно в Париже? Где остановились?

– Спасибо, – сказал Рауль, радостно задрожав – и от неутолимого юного голода, и оттого, что побывает в русской семье – первой русской семье в Париже. – Принимаю ваше приглашение. Как вы догадались, что я с Юга?

– Произношение, – хрюкнул толстяк. – И смуглота! Барон Черкасов! – Он поклонился, в свете свечей маслено блеснула круглая, как тонзура, лысина.

– Рауль Пера.

Причастники, со сложенными на груди руками, медленно отходили от сияющего, как Солнце, потира со Святыми Дарами. На глазах у людей блестели слезы. Слезы катились

по щекам. Прожигали скулы. Таяли в белизне воротников, в складках платков, в кружевах и бедных, потертых сукнах перешитых в пальто шинелей.

*

Обед у барона Александра Ивановича Черкасова удался на славу. Французенка-жена наготовила всего: на стол поданы и лионские кенели, и пиринейское жареное баранье мясо, и жульен с грибами, и речная форель в белом соусе с лимоном. Разумеется, море вина! «Вы какое более любите, месье Пера, белое, красное или розовое?» – смеясь, спросил барон. Ловко откупоривал бутылки одну за другой. Шумно, наслаждаясь ароматами, нюхал бутылочные горлышки. Рауль растерялся, хотя в Ницце перепробовал, кажется, все вина Лазурного берега. «Какое вам будет угодно», – промямлил.

В гостинной мелькали девушки: одна, другая, третья. У Рауля зарябило в глазах. Девушки все – в коротких, по колено, платьях, по моде Додо Шапель. Кажется, вбежала четвертая девушка, или ему так показалось?

– У меня пятеро детей! – гордо воскликнул барон Черкасов и поправил на груди бело-снежную салфетку, заткнутую за воротник рубахи. – Четыре дочери и сын Иван! Я всем дал русские имена, хоть женка и противилась!

Он обернулся к одной из девушек и прокричал по-французски, крепко раскатив последний слог:

– Alexandra-a-a-a!

И добавил по-русски:

– Дура.

Рауль испуганно открыл рот. Барон расхохотался.

– Ничего не понимает!

Девушки садились за стол и клевали еду, как птички; тут же вспархивали и улетали. «Птичий базар, как в Санари».

– Никто из моих детей не говорит по-русски!

Барон хотел выкрикнуть это весело, а получилось – отчаянно. Рауль поспешил протянуть руку к бутылке арманьяка, сам разлил по армаде рюмок. Он чуть опьянел и уже освоился.

– Рауль, вы умеете есть авокадо? Вы ели когда-нибудь авокадо?

– Нет... нет!

Зачем он соврал? Растерялся? Барону хотел польстить?

Барон взял в руки гладкий, будто лакированный, крупный плод с шероховатой шкуркой, взмахнул ножом, разрезал надвое и вынул крупную, как яйцо, косточку. Положил перед Раулем половину плода. Бело-желтая мякоть чуть пахла сыром и лесной свежестью. Барон воткнул в мякоть серебряную ложку.

– Ешьте! Да, ложкой! Очень вкусно!

Рауль ел авокадо и старался благодарно улыбаться.

– Когда едите что-нибудь впервые в жизни – загадывайте желание! Сбудется!

– Хочу побывать в России, – сказал Рауль вслух, с полным ртом.

Барон расхохотался, его круглый живот колыхался под треугольной салфеткой.

– Да ведь это несбыточно, мон шер ами! Там ведь сейчас крокодил у власти! Вы ешьте, ешьте! И запивайте белым вином, так положено! Приглашаю вас завтра в Grand Opera! Сказка, мон шер, новые Русские Сезоны! «Князя Игоря» дают, ах, полонецкие пляски, ах, Кончаковна! Сам Шевардин поет! Сам Хакимов танцует! Это будет – charmant!

*

Анна, наработавшись у мадам Дурбин, шла по городу, качаясь как пьяная.

Ноги сами принесли ее в парк Монсо.

Села на лавку; глубоко вдыхала воздух; задремала.

Голуби толклись возле ее сухошавых ног в стоптанных туфлях, ворковали, распускали сизые крылья. Тихо, крадучись подошел человек. Лицо черной бородой заросло. Будто в черной маске; и глаза блестят плохо, бешено. Быстро наклонился над спящей. Разогнул на женском запястье серебряную змею. Сунул в карман длиннополого, с чужого плеча, плаща.

Глава четвертая

*Да, здесь остался ниц – и стар, и млад.
Россия – свищ. В нем потроха горят,
Просвечены рентгеном преисподним.
Мы кончены. Нас нет. Бьюсь об заклад:
Кто в белизне сгорит – уйдет свободным.*

Анна Царева. «Memento Lutecia»

Парк Монсо. Нежные листья.

Зелень на просвет.

Облака несутся, сшибая друг друга, бодаясь как бараны: сильный, вольный ветер в небесах.

Люди идут парковыми дорожками. Каблуки врезаются в насыпь, в гравий, в мягкий песок.

Вот лавка, лавочка. Немного отдохнуть. Немного...

Люди садятся на скамьи. Откидываются. Спинами ощущают холодок выстуженного ветрами дерева.

Задирают голову. Облаками любят. Закрывают глаза. Кормят крошками голубей. Солнце ласкает, нежит. Не замечают времени. Напевают. Целуются. Дремлют.

Тихо, стараясь гравием не скрипеть, подкрался к лавке, где уснула на солнце печальная худая женщина в старомодном берете, синелищый, чернобородый дервиш; осторожно обшарил сумку, нежно, неслышно взял за руку, повертел, медленно браслет разогнул. Снял.

Растаяли шаги в солнечном мареве.

Пели птицы. Неслышно бормотали под ветром листья.

Когда женщина проснулась – подумала: «Век я спала». Радостно воздух вдохнула: полной грудью. Взгляд на запястье перевела. Вместо Царской змеи – белая полоска.

Белая – на смуглой коже.

Не веря, руку к лицу поднесла. Глядела обреченно.

Слез не было. Лицо напекло солнцем.

«Устала. Как я устала».

*

Банковский кризис на Уолл-стрит. Он разразился. Его ждали.

Деньги не стоят ничего.

А раньше – чего стоили они?

Анна вспоминала ужасные, пошлые, заляпаные тысячью жирных пальцев, керенки-протынки с тремя нулями. Вспоминала, как в Берлине, подметая и без того чистую улочку, Семен приносил домой в горсти – мятые марки. Как в Праге, устроившись разносчиком молока, он приносил в карманах – хрустящие новенькие кроны. И лицо мужа и отца кривилось в счастливой, стыдливой, слезной улыбке.

Франки, чем вы отличаетесь от иного людского бумажного обмана?

Обман этот жизнью зовется. Какая насмешка.

Жилье – стоит денег. Еда – стоит. Жить дорого, очень дорого. Жить – не по средствам. Не по силам.

Париж затопила безработица. Люди металась по улицам в поисках любого су, любого завалящего сантима; а не найдя, выбрасывались из окон, с чердаков. Эйфелева башня, вот

прекрасный инструмент для того, чтобы свести счеты с жизнью! Дамы удлиннили юбки, обрядились в черное, в коричневое, в темно-синее: в знак европейской скорби.

А жизнь текла, как Сена. Как далекая Волга. Текла, холодная и равнодушная к людским страстям, к их великим войнам, к засаленным, с цифрами, нелепым бумажонкам.

*

Красный бархат падал и рушился; золотая лепнина взмывала и летела. Уступами, ступенями падали, вздымались валы – бельэтаж, амфитеатр, галерка. Волны партера прибывали, в волнах просверкивали нагие плечи, жемчужные ожерелья, бриллиантовые кольца, волнами колыхались изощренные, замысловатые прически дам, и жгучая чернота мужских смокингов говорила о черных замыслах, о суровой защите от желаний и соблазнов. Краснобархатный прибой; белый солнечный песок балконных, жарких скал. Это тоже Лазурный берег, и здесь тоже – аристократия. И здесь можно утонуть в роскошном, в бездонном море сиятельной публики. Сколько стоит билет в партер? Может, барону отдать стоимость, отработать?

Рауль беспомощно озирался. Глаза горели, а рот сам кривился в презрительной, надменной гримаске: юноша делал вид, что тут завсегдатай, а в Опере был первый раз. Вон, в ложе сидит черноволосая дама, в волосах – крохотная корона, усыпанная алмазной пылью; кто это? «О, сама Марья Федоровна пожаловала из Стокгольма! – согрел теплый шепот барона Раулево ухо. – Императрица в изгнании... сколько ж ей лет, бедняжке, а все как девочка глядится!»

Оркестр грянул увертюру, и гомон в зале утих.

Музыка обняла, закружила.

Из зала на сцену глядели люди.

Девочка, худенькая, длинноногая, открыла рот, впивая музыку всем тщедушным, недокормленным тельцем. Аля Гордон, гляди и внимай! Эта опера – для тебя, ведь она о Руси, о России.

Старуха выгибала узкую жилистую спину, чуть вздрагивали высохшие руки – сейчас птичьи лапы, а через миг – вольные птичьи крылья. Мадам Казимира, глядите, слушайте! Это ваша опера – года или века назад, вы забыли уже, сколько воды утекло, вы в этой опере танцевали, и вас обряжали в костюм прекрасной половчанки, и вертелись цветные шальвары, и нанизывались на веретено времени ваши великие фуэте.

Расширив глаза, глядела на сцену Ольга Хахульская, и дрожало горло от боли и страсти, от острой, всаженой под сердце иглы воспоминаний. Плачь, бывшая тангера! Не суждено на большую сцену вернуться! А может, еще суждено?

Игорь Конев, аргентинский бедовый мачо, русский скиталец по чужим землям и морям, и ты здесь! Все-таки купил билет на русскую оперу! А может, украл? А может, выменял на краденую в толпе бурлящего Чрева Парижа блестящую безделушку? Ты сидишь в последнем ряду партера, далеко от своей тангеры. Почему вы в разных концах зала? Потому, что вы поссорились, и ты ушел из дома! Бросил на прощанье: Париж большой, найду пристанище! И еще издевательски прошипел в маленькое розовое ушко: «Ты мне надоела!»

Что ж, люди надоедают друг другу. Так бывает в жизни. А Париж и правда большой. В Париже все утонет: и страх, и боль, и расставанье. Ты ушел и больше не вернешься? Никогда? Скатертью дорога!

«Скатертью дорога!» – крикнула Ольга вслед Игорю, а дверь хлопнула – села на пол, сгорбилась, лицо в ладони уронила. И так сидела: весь вечер, полночи, пока не замерзла сидеть на голом полу.

Барон наклонился к уху Рауля, шептал, щекотал щетиной. Рауль, у барона пятеро детей, берегись, ты станешь шестым! А что беречься? Это в характере русских: подобрать, накормить, обогреть – и сделать своим, своим навсегда.

Княгиня Маргарита Федоровна Тарковская сидела в краснорухатном кресле, откинувшись на спинку, поднеся к глазам лорнет: она рассматривала знаменитого танцовщика, бешеного татарина. Прыгает выше всех! Летает по сцене не хуже орла в небесах! Уже забыла о мальчике с Юга, которому она дала тысячу франков на устройство в Париже. Не думала о нем: старость, туман в усталой голове! Думала о красавце-танцоре, летающем над досками сцены. Думала: сегодня принесли икону новгородского письма, и она ее купила – всего за сто франков, всего! Именно столько продавец запросил – нищий клошар, ночует под мостом Неф, икону, должно быть, украл, да разве это ее дело? Она спасла святыню. Бог вознаградит!

Старый художник Козлов глядел, жадно ловил прыжки свежих, юных балерин. Господи, будто в Мариинке сидит! В театре Саввы Меркурьева! Веера, аплодисменты, а на сцене – одни гении, не меньше! Сегодня его друг Шевардин поет. Не подкачай, дружище! Все врут, что у тебя плохо с кровью. Ты не исхудал! Ты еще ого-го как крепок! Волжский грузчик тебе не брат! Еще слона поднимешь, ежели пожелаешь! А голос твой громоподобный еще зал потрясет, поколеблет основы и своды!

А сзади за Кириллом Козловым сидели трое, и троица эта столь славной была, что все в зале на них оглядывались, их искали меж голов и нагих дамских плеч, на них указывали, о них шушукались. Жан-Пьер Картуш, Юкимару и Юмашев. Француз, японец и русский. Три короля Большого Света. Три модельера. Три художника: вытворяли чудеса, законодатели и мастера haute couture. Сидят, отдыхают, любят спектаклем, хлопают в ладоши. Виктор Юмашев впервые ввел в моду на Западе русский сарафан. Юкимару не только творец блестящего стиля «маленькая гейша», но и создатель изумительных духов: за ними охотятся парижские модницы.

А Картуш? О, Картуш! Картуш вне конкуренции.

За Картушем все несут невидимый горностаевый шлейф!

Картуш – любовник мадам Шапель, так говорят.

Мало ли что говорят; разве все парижские сплетни можно слушать?

– Юки, гляди, как прелестно – женщина в шароварах!

– О да, Жан-Пьер. Одновременно и юбка, и брюки.

– Я бы хотел сделать половецкую коллекцию. Она произведет фурор. В моде Восток.

– Восток всегда в моде, Жан-Пьер.

От Юкимару пахло дорогим парфюмом. Картуш потянул носом, похлопал японца по обшлагоу.

– Всегда-то всегда, но я взвинчу эту моду до предела.

– Воля твоя, Жан-Пьер.

Широкоскулое, цвета спелой тыквы, лицо Юкимару бесстрастно улыбалось.

– Ах ты, чертов Будда.

Картуш в ответ шлепнул японца ладонью по локтю. Юмашев глядел, хохотал беззвучно.

Скрипачи ударили по струнам, музыка развернулась ярким флагом. На сцену вышел князь Игорь. Голос певца заполнил зал, поднялся выше галерки, выплеснулся через край – на улицу, на волю. Господи, как поет Шевардин! Никому так не спеть!

Хакимов сделал широкий и высокий прыжок. Слепяще-красные шаровары мелькнули в снопе прожекторного света. Вспыхнула самоцветно, радужно рампа. Цветные лучи скрестились. Хакимов упал к ногам хана Кончака, нагло отогнул ему голову руками и впился поцелуем в ханские губы.

Зал засвистел, заплодировал, возмущенно закричал, дамы зафыркали, захохотали. Великий танцовщик Войцех Хакимов любил не женщин, а мужчин. Что ж, вольному воля; таким он появился на свет, и, если Бог допускает рождение подобных людей, зачем Он тогда спалил Содом и Гоморру?

За троицей знаменитых кутюрье сидела, кусала губы раскосая дама с высокой, как черная башня, прической, со слезкой крупной желтой жемчужины в яремной ямке. Бывшая жена Юкимару, Мариико. По прозвищу Белая Тара. Они развелись еще в Токио, до переезда в Париж.

Шевардин еле стоял на ногах. Худоба его издали бросалась в глаза. Богатый и густой грим не спасал лицо, уже похожее на череп. Изможденный, больной, сегодня пел все равно. Он пел бы и на смертном одре. Он там и будет петь. Так и уйдет к Господу Богу – поющим: исторгая звуки, разевая усталый, огромный рот с диким раструбом золотого горла.

– О, да-а-айте, дайте мне свобо-о-оду! Я мой позо-о-о-ор сумею искупить... я Ру-у-усь от недруга спасу-у-у-у!..

Юмашев забил в ладоши, громко крикнул:

– Бра-во!

Зал взорвался рукоплесканьями.

Тишина не успела настать. На весь зал раскатился выстрел.

– Боже мой, – громко сказала Аля и зажала рот рукой.

Игорь, сидевший рядом, стрельнул в нее глазами. Последний ряд партера! Выход рядом.

Публика повскакала с мест. Визг женщин разрезал уши.

Шевардин покачнулся. Удержался на ногах. Ярко-красные шаровары Хакимова растеклись атласной кровью по яично-желтым доскам. Хакимов странно, по-петушиному, как крыльями, вздернул обеими руками, сделал шаг вперед и резко, обреченно завалился назад. Упал. Громко, деревянно стукнулся затылком о доски.

Зрители кричали, вопили. Иные повскакали с мест, бежали к выходам. Искали выхода, рвали, терзали краснобархатные, алые, малиновые портьеры. Кровь! С потолка, из-под балкона стекала кровь. Хлестала вниз, на затылки и плечи, водопадом.

Игорь схватил Алю за руку.

– Слушайте. Времени нет. У меня револьвер. Меня поймают, обыщут... и обвинят. Меня посадят в тюрьму! Вы – русская! Спасите меня!

Шевардин на сцене тоже упал, бессильным, огромным тяжелым кулем, рядом с Хакимовым.

Народ визжал, ломился к выходам, дамы плакали в голос. Низкорослый мужчина хищно срывал пушистое горностаевое боа с плеч у пышнотелой мадам. Юмашев, Юкимару и Картуш холодно, по-буддийски спокойно наблюдали панику. Сидели в партере; не тронулись с места.

– Больше стрелять не будут, Виктор. Это дешевый террор. Кто-то очень хотел убить Хакимова.

– О да. Опера. Сцена. Убийство как спектакль. Понимаю.

Юмашев вытащил из кармана портсигар, вынул гаванскую сигару, зажигалку от Zippo, закурил. Он всегда курил сигары; любил крепчайший, острый табак.

Игорь схватил Алю за руку. Тащил за собой. Они оказались в людском водовороте близ узких, крашенных белилами, украшенных лепниной дверей выхода. Алю сжали, как в тисках, она задохнулась и закричала.

Игорь обнял ее за плечи, потянул, прижал к себе. Так, вдвоем, крепко обнявшись, как двое влюбленных, они пробирались сквозь визжащую, ополоумевшую толпу – мужчина и девочка.

Их вынесло на улицу на гребне людской волны.

Волна, прибой, море. Людское море.

Страшно людское море. Можно утонуть, не выплыть, – сказал Игорь, отдуваясь, вытирая со лба пот ладонью. Потом взял Алину руку – и ею, маленькой полудетской лапкой, вытер мокрый ее лоб.

– Мы как из моря. Плавали... и выбрались на берег.

«Шевардина тоже увезли в больницу?» – думала Аля, глядя в близкие, очень близкие глаза незнакомца. Русский! В Гранд Опера! И этот выстрел. Как мама не хотела, чтобы она сегодня шла в Оперу! Зато мадам Козельская – хотела. И эта контрамарка, бесплатная, пахнущая дорогими духами мадам. На бело-розовой плотной бумаге; на два лица. Аля была одно лицо, и она пошла. Отец и мама отказались. Ника еще очень маленький для спектакля.

– Идемте к нам домой, – Алин голос сбивался на рыданье. – Идемте скорей! Бежим! Выбросьте револьвер! А то вас поймают!

– Ну уж нет, – весело сказал Игорь. – Теперь-то не выброшу. Бежим! Ведите!

Взявшись за руки, они побежали.

За их спинами слышались крики, плач, ругательства. Люди топали как лошади. Аля чувствовала жар, исходящий от потрясенной, напуганной толпы. Толпа – чудовище. Революции и войны делают не люди – чудовища; она теперь знала это.

Когда в России делали революцию, она была еще малышка. Несмышлениш.

Дым смертного мороза за грязными окнами. Печь топи не топи, все холод. Дохнешь в комнате – пар изо рта, как у лошадей. У нее на руках – кроха-сестра, Леличка. Леличка умерла от голода в приюте. Анна сдала ее в приют, когда Аля заболела тифом. Аля умирала дома, а Леличка – в приюте. Когда Леличка еще жила дома, Аля привязывала ее за ногу к ножке кровати. Чтобы не мешала; чтобы не бегала везде и не разбила себе нос. Аля очень боялась, когда кровь из носа шла. Революция, кровь, красные флаги. Мама ходила на расстрел и осталась жива.

А сейчас в Гранд Опера расстреляли великого Хакимова; и он умер. Или жив, ранен?

От Гранд Опера, похожей на пышный разноцветный торт, они сломя голову добежали до метро. Нырнули под землю. Аля запыхалась. Игорь глядел на нее сверху вниз. Он был очень высокий, а она маленькая: не выросла, мама говорила, вырастет еще.

*

Игорь озирает дом, куда его привели. «Да, нищая квартирка. И так много людей! Голоса за стеной. Бедлам. Вавилон. Париж – Вавилон, а мы – вавилоняне; и грех на нас, и кара падет». Углом рта улыбался. Алино лицо потно, красно. Какая она вся мокрая под нарядным платьицем. Пот течет по шее, по лбу.

Ее мать им открыла, должно быть. Сухая. Надменная. Злая.

– Бон суар, господа. Аля! Познакомь с гостем.

Ни вопроса; ни гнева; ни любопытства. Будто бы масляную краску из тюбика, медленно выдавливая слова. Какие зеленые глаза! Чистая зелень. Ягоды крыжовника. Наглые, зеленые, соленые. Влажные, будто вот-вот взорвутся слезами.

– Мама... я... мы в Опере...

– Ты из Оперы кавалера привела?

Не голос – жесткий сухарь. Не разгрызешь.

– Мама, это не кавалер! Человек в беде! Я его...

– Ваша девочка меня спасла, – наклонил голову Игорь. В темных густых волосах давно пробежала белая искра. Он рано начал седеть. – В Гранд Опера прогремел выстрел. Стреляли в Хакимова. Кажется, попали. Мы убежали, я не знаю, что там произошло. Началась паника. У меня с собою револьвер, мадам. Меня могли арестовать. Клянусь, не я стрелял.

Улыбка опять искривила губы.

И рот этой мегеры pokrивился в улыбке: будто кривое зеркало отразило его лицо.

О да, чем-то они с гримзой похожи. Чуть с горбинкой носы. Седина в волосах. Жесткие черты красивых, породистых лиц.

Он стряхнул наваждение. Вся в морщинах баба. Не первой свежести осетрина. Еще чего, заглядываться на такую! Смех.

– Аля, переоденься, все платье испачкала. Анна.

Протянула сухую, твердую, как доска, руку. Пожал.

Ощутила тепло и власть. Насмешку. Осторожность: не раздавить бы хрупкие дамские косточки.

– Игорь. И опера, смею заметить, «Князь Игорь».

Сухо хохотнул. Зеленоглазая мымра сухо, натянуто улыбнулась бледными, лиловыми губами.

Аля уже хлопотала, нервно, услужливо собирала на стол. О, нищета! Стол-то газетами застелен. Вместо фарфоровых тарелок – жестяные миски. Хлеб девчонка режет – черный! На сдобу к чаю, уж верно, денег нет. Ба, тут и детская кровать в уголку! Пустая. Где младенец? А, так тихо спит! Не проснулся от голосов, от света. Золотой ребенок!

– Садитесь, месье Игорь!

– Какой я месье!

Ему в тарелку каши наложили. Нос морщил, а ел: не обижать же хозяев! Анна, прищурилась, наблюдала, как Игорь ест. Изящно, отставив мизинец, все летает в руках: ложки, вилки. Хлеб красиво ломает в длинных, крепких смуглых пальцах. Стало тревожно, горько. Отчего? Не понимала.

Раздался стук в дверь. Анна глянула на часы с маятником, Лидия их из Москвы привезла, фирмы «Павель Буре»: о, уже двенадцатый час! Вечер поздний.

Она процокала каблучками к двери, Игорь одобрительно покосился на ее сухие, легкие ноги. «Дома ходит на каблучках, не в тапочках. Хвалю. Есть, есть в ней грация».

– Супруг прибыл, – мрачно бросила, вернувшись в гостиную. – Работает допоздна.

Правду сказать, она не знала, где он пропадал вечерами. Семен успокаивал ее, целуя в руку, в острое плечо: «В русском клубе, Анночка, такие дискуссии! Все спорят: кому мир достанется – Евразии или Америке?»

Игорь сжался, подобрался, как зверь перед прыжком. Спину выпрямил, выгнул. Глазами стрелял. Ложку в руке зажал. Каша, селедка. Репчатый лук Аля кольцами нарезала. Угощение на славу. О, где ты, жареное на вертеле мясо аргентинских притонов, приморских таверн.

Семен вошел, опаживая всех сыростью, запахом тополиных почек – шел дождь.

– Так мокро, господа! Прямо питерская погодка! – Увидел за столом гостя, осекся, вспыхнул, как юноша. – Здравствуйте, с кем имею честь?

Игорь встал, поклонился. Даже каблуками шелкнул, по-военному.

– Игорь Конев.

– Семен Гордон.

Аля видела, как закусила губу мать. Отец ее никогда не ревновал, ни к одному ее мужчине. У нее в России, в Берлине и в Праге были романы, и, как Анна ни скрывала их от дочери, дочь – догадывалась. Владимир Иртенев и князь Волконский в Москве. Михаил Волобуев в Коктебеле. Николай Крюковский в Петербурге. Андрей Быковский в Берлине. Гиацинт Бачурин и Берт Блюм в Праге. А поэт Эрих Мария Рейнеке, восторженный немец? А Глеб Погосян? А Розовский? А Букман? Юноши и старики. Князья и мужики. Стихоплеты и офицеры. Аля закрыла глаза. Стыд не дым, глаза не выест. Мама, мама, да ведь ты поэт, а поэт – он что? Он – свободен! Ветер!

И в любви – свободен.

Отец всегда это понимал. Все прощал. «Я бы не стерпела», – подумала Аля.

– Что тут у вас? – Семен потер ладони, шумно сел к столу. – О, селедочка! Аничка, неужели у нас нету выпить, ну хоть по чуть-чуть!

– Ничего, – отрезала Анна. – Если б было, я бы подала.

– А где Чекрыгины?

– Спят. Поздно уже.

– Мама, вы в Москве в это время никогда не спали! Вы всегда в двенадцать ночи или стихи писали, или гостей встречали!

Аля тут же пожалела, что сказала это. Лицо Анны сделалось жестким, бешеным, белым.

– Александра. Пошла вон.

– Мама, простите! – Аля уже плакала. – Куда я пойду? Чекрыгиных разбужу! Разве только на балкон! Он обвалится, он же такой маленький! А на улице – ливень!

Дождь хлестал по крыше. В комнате стоял шум, будто бы они все куда-то ехали в огромной, старой, тряской машине по бульжной мостовой.

Семен сжал руки над тарелкой овсянки и нервно хрустнул пальцами.

– Господа, о, господа! Ну что вы! А давайте в карты поиграем!

– В карты, в карты! – Аля хлюпнула носом, вытерла пятерней мокрое лицо. Ее густые косы развились, светлые пшеничные волосы прилипли к коричневому платью. «Одевает ребенка, будто монахиню, – подумал Игорь, – в черном теле держит. Она права! Иначе не выжить».

– Согласен, идея! Сто лет в карты не играл!

– Вы у нас ночевать останетесь, месье Конев? – вежливо спросил Семен. – Мы вам на полу постелим.

– Благодарствую.

Аля, вытирая рукавом заплаканное лицо, уже несла в руке колоду карт. Засаленную, пухлую. Карты слиплись – в них давно не играли. Бубновая дама прижимала к груди розу. Король пик хмурился мрачно. Семен видел: заблестели глаза незваного гостя, просверкнули зубы между красиво вырезанных, плотоядных губ в лукавой, быстрой усмешке.

Сдали карты. Каждый развернул перед собой карточный веер, уставился в россыпь судьбы. Ника закричал в кроватке, заворочался. Семен прижал палец к губам, вопросительно на Анну взглянул. Она холодно пожала плечами.

Проснется – покормлю, пока теплая каша. Ну-с, господа! У кого что? У меня – шестерка. В подкидного ведь играем?

– Ходите, мадам!

«Он называет меня „мадам“. Он нагл. Молод. Гораздо моложе меня. Он в сыновья мне годится». Анна закинула голову, раздула ноздри. В неярком свете грязного абажура тонко, иконописно светился ее четкий профиль.

«Похожа на рыцаря. На женщину не похожа. На принца Гамлета. Мужланка». Игорь постучал ногтями по рубашке своих карт.

Анна бросила перед Игорем на стол сразу две карты – среди неубранных мисок с недоеденной кашей, блюда с селедкой в прованском масле и оловянной миски с нарезанным кольцами луком лежали дама и король. Дама бубен и король пик.

– О, что ж это вы? С таких богатых карт начинать... Воля ваша! У вас, мадам, видно, на руках сплошные козыри! Господа, а на что играем? Мы не сделали ставки, господа!

Руки нервно, весело прыгали, дрожали, метались над столом: руки опытного ловкача, руки профессионала.

Семен глядел на руки Игоря. Аля уткнулась в свои карты. Анна хотела отвести взгляд от глаз Игоря – и не смогла.

– На деньги?

– У нас денег нет! – пропищала Аля.

– Брось, Аля, какое унижение. – Семен полез за лацкан пиджака, вытащил бумагу в пятьдесят франков, швырнул на газету, что вместо скатерти стол укрывала. – Никогда не унижайся!

Игорь в одной руке держал карты, другой ловко слезал в карман и положил рядом с купюрой Семена двухсотфранковую бумагу. Анна, расширив глаза, глядела на деньги. Двести франков! Сколько обедов дома. Пальтишко Нике, на самой дешевой распродаже! И башмаки, башмаки Семену, его совсем износились!

О себе не подумала ни мгновенья.

Опять ее глаза наткнулись на его глаза. Узкие, широко стоящие, масляные, быстрые. Зрачки обжигали ее, буравили. Густые ресницы дрожали. Он гладил, ласкал, обнимал ее глазами. А потом – внезапно – глаза вспыхивали злобой, насмешкой: презрением, оплеухой, плевром.

«Он презирает меня... нас... за то, что мы – бедные! А он что, богач?! Что-то по нем не видать. Пиджачишко-то будто с чужого плеча! А если он вор?! Уж больно бегают, кричат его руки!»

Они кидали карты одну на другую. Лампа под абажуром мигнула раз, другой и погасла. Аля пошла на кухню, зажгла керосиновую лампу и внесла в комнату. Пахло керосином, пахло селедкой. Ну точно таверна в Буэнос-Айресе, весело думал Игорь. Руки сами ходили, летали. Руки делали свое, привычное дело.

Игорь покрыл брошенные Анной карты, и руки еле уловимо, незаметно дернулись. Карты сместились легко, воздушно, как в балете, как в танце. Никто ничего не увидел. Никто... ничего...

Рука Анны одним шлепком сложила карточный веер. Она ударила картами Игоря по руке.

– Месье! Вы шулер! Это подло!

Двести франков и пятьдесят, пятьдесят и двести.

Он шулер, и она выгонит его. В ночь. В непогоду. Под проливной дождь. Наплевать.

Он вскочил, под смуглотой проявилась бледность благородного возмущенья, тонкие усики задергались. Глаза-уклейки метались, пытались уплыть.

– Вы оскорбляете меня, мадам!

– Это вы оскорбили нас всех. Вон из моего дома! У нас не проходной двор!

«Сейчас он встанет и уйдет, и таким же нежным, лисьим движеньем заберет с собой деньги. Двести своих и пятьдесят наших. Пятьдесят. Неделя жизни в Париже. Неделя жизни. Подлец».

Она встала, крикнула Игорю глазами: «Подлец!» – и вышла из комнаты. Игорь слышал, как ее каблучки цокают по коридору на кухню. Цок-цок, цок-цок.

Встал из-за стола. Прошел в коридор, к вешалке. Нашарил шляпу. Аля бежала за ним следом, хватала его, как кошка когтями, за полы смокинга.

– Месье Игорь, Господи, куда же вы?! Туда же нельзя! Там же – потоп! О, извините, у меня мама – поэтесса... она такая вспыльчивая! Не обижайтесь на нее! Господи, час ночи ведь уже, где же вы заночуете?

Игорь взял ее лицо в обе руки. Подержал так немного. И у дочки такие же зеленые глаза. Скорее серо-зелено-синие. Как море. Дочки-матери. К черту.

– К черту, – сказал Игорь вслух, и Аля отшатнулась. – Дойду пешком до вокзала Сен-Лазар и там заночую. Вокзал, ма шер Аля, пристанище всех воров и бездомных бродяг. А также карточных шулеров. – Губы покривились в последней, надменной усмешке. – Не волнуйтесь обо мне. Я привык к лишениям. Я скиталец.

– Мы все скитальцы! – жалко крикнула Аля.

Игорь наклонился, поцеловал ее руку, щекоча усами.

Когда за ним захлопнулась дверь и Аля вернулась в их каморку, она увидела – мать сидит за столом, глядит на две купюры, лежащие меж их нищих мисок. Пятьдесят франков и двести. Двести и пятьдесят.

Отец открыл дверь на балкон, стоял перед дверью, курил. Ливень шел серебряной стеной. В комнате стоял шум, как от самолетных лопастей. О чудо, Ника спал.

*

Игорь вышел из подъезда Анниного дома на улицу – и оглох от шума ливня.

Стоял под навесом. Ступить шаг – и вымокнуть вмиг до нитки. Легче в одежде прыгнуть в море.

Все-таки он шагнул вперед. Пошел под дождем, и скоро края шляпы повисли, как шляпка старого червивого гриба. Париж был пустынный и мокрый. Париж под водой. Размытые огни фонарей, плывущие мостовые. Он брел по тротуару, будто реку вброд переходил. Шел и смеялся.

Нет, какова! Рассердилась всерьез! А может, она с ним играла?

Шел и думал о себе рьяно, шало, горделиво: «Я красавец, я молод! Все женщины Парижа будут у моих ног! Я сделаю тут карьеру, сделаю! С краденым револьвером в кармане – сделаю! Я пробьюсь наверх! А эта несчастная, тощая как вобла, московская поэтка?! Да я ее... если захочу, в бараний рог согну!»

Тревога грызла потроха, ворочалась под ребрами. Откуда он ее знает? Помнит?

«На кого-то похожа... видел ее?... знал... нет, бред...»

Оглянулся. Сквозь серую стену ливня еле просматривались высокие мрачные дома. Окна закрыты жалюзи. Ни огня. Ни души.

Адрес? Он не запомнил ни улицу, ни номер дома. Этаж под крышей. Почти чердак. А, вроде улица Руве. Рабочий черный, серый район. Много смога, трудно дышать. Дождь хотя бы прибьет пыль и гарь. Зачем ему адрес этой нищей семейки? Он сам здесь нищий. Пока! Завтра он будет богат и знаменит. Ему нищие больше не нужны.

Шагнул за угол, башмак заскользил, он растянулся на тротуаре. Милль дьябль, кажется, ногу вывихнул! Встал: больно, но идти можно. Сунул руку в карман. Револьвер на месте. Не выронил.

Сделал вперед еще шаг – и из влажного марева ливня на него надвинулись двое. Нет, трое! У двоих головы голые, третий в тюрбане. Черт! Мусульмане!

Серебряный дождь, черное лицо. Чернь и серебро. Толстогубый курчавый парень прыгнул, заломил ему за спиной руки. Игорь выдохнул ему в пахнущее чесноком лицо:

– Денег нет! Не трудитесь!

По-своему лопотали. Старик в тюрбане воткнул ему кулак под ребро, Игорь простонал, согнулся. Третий, совсем чернокожий, негр настоящий, быстро обшаривал карманы Игорева смокинга. Вытащил револьвер. Сдернул с головы Игоря обвисшую шляпу и швырнул в лужу.

– Отпустите меня, – спокойно сказал Игорь по-французски.

Старик в тюрбане прищурился, оскалился:

– Отпусти тебе? Отпусти, отпусти! Деньга тебе нет, правда сказать! Мы все голодать! Достать мы еда – тебе отпусти!

Вели его, как коня в поводу, мимо домов, мимо ярких витрин. Кафэ, и стулья сгребли от дождя под тент, и из открытой двери желтый свет, и терпко пахнет кофе. Игорь вспомнил кофейни Буэнос-Айреса, и стало сладко и больно сердцу. Смешно, и кофе захотелось, хоть одну маленькую чашечку, крепчайшего, да с коньячком.

– Я не буду грабить кафэ.

Ливень ослабевал. Струи уже не больно били асфальт и гранит – лились медленно, с грацией фонтана.

– Зачем кафэ? Не надо кафэ! – Тюрбан высморкался прямо на мостовую, зажав пальцами нос. – Вот лавка! Взять овощ! Взять – и убегай!

Игорь посмотрел на мусульман. Мокры как мышцы. У них его оружие. Револьвер заряжен. Не повезло ему. Он купил его с рук у очаровательного, похожего на болонку торговца на Блошином рынке. Торговец запросил смешные деньги. Нет, определенно все это смешно. Смешно.

Увидел себя со стороны: мокрый, без шляпы, обчистили, и еще смешней, что – не боится. Расхохотался раскатисто, во все горло. Восточные люди попятились.

– Откуда? Алжир? Марокко? Африка?

– Африка, Африка, – закивал толстогубый. – Взять овощ! Взять!

«Как собаку, науськивает».

Игорь боком подошел к мокрым, глянцево блестящим в свете фонаря овощам и стал набивать карманы помидорами, картофелем, баклажанами, огурцами, ревенем, шпинатом, апельсинами, морковью. «Прости-прощай, мой смокинг! И рубашка моя с кружевной манишкой, от Картуша! Где выстираю, где проглажу? В Буэнос-Айресе белье мне гладила Ольга». Ольгу вспомнил – голова чуть закружилась. Прошлое. Растаяло. Вспоминать? Смешно.

Карманы раздулись, отяжелели. Обернулся к грабителям: хватит? Толстогубый махнул волосатой рукой. Тюрбан цепко схватил его за руку, поволок. Носом ткнул в мокрое, блестящее стекло. За стеклом горели, сияли, мерцали чудеса: ветчина и буженина, медово-желтый сыр и сыр с малахитовыми прожилками зеленой плесени, оливки в серебряных мисках и крабьи красные ноги, связки копченых колбас и рыжие, с золотистой корочкой, окорока.

Подельники быстро вытащили из карманов у Игоря добычу. «Куда сложили? А, за спиной у старика мешок!»

– Разбить! – повелел Тюрбан. – Живо! Ажан, арест!

Игорь размахнулся ногой и ударил каблуком по стеклу витрины. «И башмаки от Андрэ тоже, родимые, прощайте». Стекло брызнуло на асфальт со звоном. Ноздрей Игоря достиг запах копченого мяса. Он ударил в стекло локтем, чуть повыше. Разбойничьи-нагло шагнул в лавку через проем. Давил осколки подошвами, они хрустели. Игорь брал в руки снедь и передавал африканцам. Так из рук в руки передают на стройке кирпичи. Смешно.

Они обчистили почти всю лавку. Котомка на заливке у Тюрбана походила на верблюжий горб.

Игорь взял в руки большой ломоть синего козьего сыра, прыгнул на тротуар, впился в сыр зубами. «О! Душистый! Зверем пахнет, козой. Соленый! Со слезой! Черт, я в Буэнос-Айресе еще и не такое творил!» Ел и смеялся.

Африканцы стояли перед разбитой витриной и глядели, как он ест. И тоже смеялись.

Рядом длинно, протяжно свистнули. Их сейчас и впрямь арестуют! Смешно!

Игорь не двинулся с места. Тюрбан толкнул его в спину, прохрипел:

– Уходить! Слышать, уходить! Ажан! Тюрьма!

Они побежали по улице. Все быстрей и быстрей. Сзади свистели, слышался топот. Они свернули в узкий переулок, потом нырнули в подворотню, и топот стих, и свистки, и ругательства.

Грабители привели его в притон. Игорь оценивающе глядел, изучал: да, колоритно, да в Буэнос-Айресе бывало и живописней. «Черт, что это я все время Буэнос-Айрес вспоминаю? Я в Париже! К лешему Аргентину! Я парижанин лишь наполовину. Стану настоящим, блестящим парижанином».

Мрачные своды. Керосиновые лампы. Тени женщин, они в чадрах. Глаза горят из-под черной сетчатой ткани, глядят его по лицу, как легкие руки. Мусульмане обрезанные; это приносит их женщинам наслаждение или нет? Стол в потеках вина и жира, уставлен свечами, одни догорают и чадят, другие сейчас зажжены. Ночь и огонь. Огонь и ночь. Синий попугай в старой золоченой клетке сидит на жердочке, раскачивает клетку, как качели. Развлекается. Двое

в углу курят кальян. Змеи кальяна ползут ко ртам; змеями ползет ароматный, вином пахнущий дым изо ртов и ноздрей. Да, они наливают в кальян вина, чтоб вкуснее было. Гурманы.

На запястьях женщин – изошренно вышитые аметистами, жемчугом, бисером, стеклярусом, широкие кожаные браслеты. Лизнешь – сладко: не камни – леденцы. Сладкая, сахарная роскошь Востока. Может, он уже не в Париже, а в Марракеше?

Тюрбан хлопнул ладонью по столу. Сидевшие за столом подняли головы. Кто спал – проснулся. Кто бодрствовал – вздрогнул. Хозяин пришел.

Тюрбан прорычал длинную, как музыка, фразу на своем языке. Игорь внимательно слушал. Он различал диалекты арабского. «О да, они из Марокко, скорей всего. Только не из Аравии; не с берегов Красного моря. Другой выговор». Игорю подвинули колченогий стул. Он сел. Никто больше не заламывал руки ему за спиной. Никто не бил его кулаком в живот. Они поняли: он свой.

«Да, я показал им себя. Понравился им. Ловко я лавку обчистил. Не забыл прежние ухватки».

Сидел за столом, глядел, как свеча горит, и думал, думал. Молчал.

«Как отсюда уйду? С чего начать?»

И его осенило.

– Карты! – Поглядел на Тюрбана и руками показал, как карты тасуют. – Карты! Играть! Скоротать ночь! Я спать не хочу!

Тюрбан проколол его острыми копьями зрачков. Маслено, медленно катались в орбитах круглые, черные маслины злых, смысленных глаз.

– Игра! Играть! – воскликнул Тюрбан, и щеки, покрытые синей щетиной, зарумянились, как лепешки в печи. – Наш французская друг предложить мы играть!

– Игра «кинг», знаешь такую?

Карты уже бросили на стол. Уже он сдавал их, блестя зубами, подрагивая усами.

«Сегодня картежная ночь, та раголе. Я должен выиграть».

Игру в «кинга» знали все матросы на свете. Все бандиты и содержатели портовых приютов в Буэнос-Айресе ее знали. Не брать взятки. Не брать червей. Не брать дам. Не брать... короля этого, милль дьябль, кинга... разбойника... уродца поганого... черт!.. он в тюрбане...

Игорь сдавал и сдавал, и игра летела вслед за игрой – так птица летит за птицей, никогда не догоняя соперницу в стае. Мусульмане чесали пятернями грязные головы. Язык тускло-желтого пламени в закопченном стекле керосиновой лампы плыл розовым огнем в глубине опала. Последняя партия! На что они играют? Они не условились о ставке!

– На что мы играем, милейший?

– На деньга! На деньга!

Холод прошел когтями у Игоря по спине.

– На мой револьвер!

Долго, хрипло, натужно хохотал Тюрбан. Оборвал смех. Кивнул.

– Хорошо! Револьвер! Тебе оружие надо Париж!

Брякнул револьвером об стол.

«Не подкачай, удача моя, голубка... не подведи».

Рыжий король червей, Кинг в красном тюрбане, глядел на него с грязной сальной карты торжествующе. Он выиграл.

Мрачно сидел Тюрбан за столом. Тер ладонью синюю колючую щеку. Катал маслины глаз по бесстрастному лицу Игоря.

– Да! Ты – выиграть!

– Револьвер! – сказал Игорь, встал из-за стола и протянул руку ладонью вверх.

И тогда Тюрбан захохотал, забулькал, затрясся, заблажил. Так хохотал, что свет в керосиновой лампе погас! Смешно.

– Тебе? Отдай? Револьве-е-е-ер? – и снова трясся и качался, и захлебывался смехом. – Я пошутить! Тебе отдай – а ты мы все стреляй! Стреля-а-а-ай! А-ха-ха!

Игорь скрипнул зубами. Так, провалено дело.

«Думай, голова, шапка новый купим. Так говорил наш дворник Рахим в Москве. Подметал мостовую перед нашим домом, так говорил, качал головой, смеялся! Где мой дом? Где моя Москва? Что там сейчас? Совдепия? Парады на Красной площади? Красные транспаранты? Все в униформе, все по ранжиру?!»

Может быть, Тюрбан заметил, как он побледнел. Может быть. Пусть думает: он бледен от испуга, от гнева.

– Не надо! – Игорь поднял руки над головой. – Оставь оружие себе! Хочешь, песню спою? И станцую.

Тюрбан выкатил глаза.

– Стан-цуй?!

– Да, да! Танец! Танцевать! – Игорь сделал несколько па, щелкнул в дымном воздухе пальцами, как кастаньетами. – Весело!

Дымный мрак вздрогнул и поплыл. Все повскакали с мест. Загребели падающие стулья. Выволокли из тьмы женщин, они сначала упирались, потом грациозно выгибали спины, двигались, мелко перебирая по заплеванному полу ногами – лебедицы, павы. Чадры не снимали. Игорь танцевал в середине хоровода, шестым чувством переняв движенья: выставлял вперед плечи, поднимался на носки, опускался на пятки, плыл рядом с женщинами, заведя руки за спину. Потом стал перебирать ногами, пристукивать. Четкий, жесткий ритм. Да. Да. Вот так. Набрать в грудь воздуха. Запеть.

Пел, как и танцевал, – ритмично, рисовал голосом четкий, ясный узор. Потом голос стал чертить завитки, исходить сладостью, негой. Игорь хорошо пел и знал это. У него в России друзья были певцы; и здесь, в Париже, он уже пару раз за кулисы к самому Шевардину приходил. Ах, в ночных московских пирушках его не раз просили спеть! И пел: то жестокий романс, то русскую, то – Чайковского. «Растворил я окно, стало душно невмочь! Опустился пред ним на колени...»

И еще он хорошо умел делать кое-что.

Этому его научили в Буэнос-Айресе.

Он-то думал тогда – зачем старуха Хуана время тратит, ведь не пригодится наука!

Четкий стук. Крылья голоса. Голос летит. Ноги перебирают, ноги выстукивают четку. Железный ритм. Никакой музыки, железный ритм. Гляди, они уже садятся на стулья. Они оседают. Пеплом, серой пеной. Падают на доски стола, на пол высосанными окурками. Они закрывают глаза. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-там.

Голос, плети кружева. Плети вензеля.

Ноги, танцуйте. Стучи, каблуки. Та-та-та-там.

Они спят.

Спят, слышишь ты, спят!

Спят восточные куклы. Спят смуглые красивые куколочки в тюрбанах и грязных накидках. В чадрах и кепи. Умилно улыбаются нарисованные ротиком. Торчат волосенки из пакли. Спите, куколочки, спите. Я осторожно. Я вас не разбужу. За ниточки не дерну.

Остановился. Тихо. Утер пот со лба.

Они все, мусульмане, африканцы пухлогубые, под сводами воровского притона спали, а кто-то спал, как лошадь, с открытыми глазами, а кто-то – голову закинул, и в глотке перекачивалось, хрипело. Тюрбан уронил голову в колени. Тихо. Тишина.

Револьвер лежал на столе. Игорь спокойно взял его. Желваки вздулись над скулами и опали. Так, хорошо. Он погрузил их в сон. Спасибо, старая аргентинка, ведьма, Хуана Флорес. Уроки пригодились. Здесь и сейчас.

Оглядел камору. Свечи догорали. Те, кто курил кальян, спали, положив кудлатые нечесанные головы на смуглые руки. Они сидели далеко, в темном углу, и все же он увидел – в сгущении тьмы серебряно, нежно блеснул странный свет.

Стараясь наступать беззвучно, на носки, Игорь подошел к спящим курильщикам кальяна. На баранье-курчавом запястье молодого марокканца светился странный серебряный браслет. Он никогда таких не видел. Серебряная змея обвивала густо-коричневую, сильную мохнатую руку. «Проснется – ударит в скулу – костей не соберу». Наклонился; осторожно, нежно, вор заправский, умелый, снял серебряную змейку с чужой руки. «Я царь воров, слава мне и хвала».

Еще валявшийся около кальяна берет подобрал. Вместо погибшей под ливнем шляпы.

Браслет в карман, револьвер в другой. Снова свободен. Только выйди так, чтоб не скрипнуть дверью.

Ему это удалось.

Светало. Дома Парижа на рассвете – легкие, воздушные, расцветают серыми громадными розами. Люди просыпаются, поднимают жалюзи, впускают в комнаты свет. Все прозрачно, прозрачно. Париж – призрак, Париж – серые крылья летучей мыши; нежный, беглый этюд сепией, углем, мягкой сангиной. Боже, почему он не художник!

Иногда сердце сжималось: хотелось большего, высшего, нежели жизнь вокруг, над головой, под ногами. Хотелось – неведомого, дикого счастья.

И чтобы все люди, да, все на свете знали, любили его!

«Я буду знаменитым. Я буду знаменитым! Хор похвал зазвенит! Обо мне все узнают! Цветы и любовь сложат к моим ногам! Да, вот к этим, к этим ногам... шулера, тангеро, бродяги...»

Посмотрел на размокшие под ливнем туфли от Андрэ. Да, в мусорницу! Да не пойдет же он босиком! А куда он пойдет? Домой? Он же из дома ушел. Где дом теперь?

Поднял голову; засвистел весело. Как парижский мальчишка, гамен.

«Весь Париж – мой дом!»

Смутный, серо-розовый, влажный рассвет. Небо затянуто тучами. Дождь прекратился. Камни мостовых впитали влагу. Уже не ночь, и еще не утро.

Шел, насвистывая модную шансон, по улице. Внезапно распахнулась дверь ночного ресторана, раздался звон – из дверей на мостовую полетели чашки, рюмки, хрустальные бокалы, фарфоровые тарелки, вот даже супница полетела, и – хрясь! дрызнь! веером осколки!

Отступил, смеясь. Скандал? Сейчас придут ажаны? На крыльцо заведения вышел хозяин – галстук-бабочка, белейшая манишка, штиблеты начищены, весь с иголки.

– Медам, месье! Силь ву плэ!

Ручками пухлыми приглашающий жест сделал. А, понятно! Посуду бьет – народ привлекает! Ресторанишко-то ночной, а посетителей – нет!

Зайти позавтракать, что ли...

Рука в кармане. Карман – пустой.

Игорь помахал рукой галстуку-бабочке. Мимо, мимо! Навеки мимо! Навсегда! А может, еще свидимся в Париже, друг!

Идя по улице, увидел огромные, в три человеческих роста, окна; никогда не видывал таких домов. Шторы откинута. Гляди не хочу. Он заглянул. Яркие люстры, бильярдные столы, бра, торшеры; и по стенам – картины, картины. Галерея? Салон? Дверь открыта, но никто из нее не швыряет на мостовую посуду. Глаза ловили перемещение фигур по комнатам: о, тут красивые дамы, но это не бордель, ма пароль! Не все красивые. Улыбнулся. Посреди зала, под слепящей люстрой, в громадном, как корабль, кресле сидела толстая, расплывшаяся лягушка. Она была отвратительна, безобразна. И все толпились вокруг нее. Все говорили с ней. Все улыбались только ей. А она важно кивала головой на все речи – и тоже улыбалась, широким,

в бородавках, жабым ртом. В похожих на пельмени ушах жабы блестели хорошо ограненные бриллианты. Хозяйка салона.

Над зеленым сукном бильярдного стола стоял высокий человек со щеткой моржовых густых усов, отирал от пота лысеющий лоб, что-то быстро писал в толстой записной книжке. Или в тетради, он не разглядел.

Люстра горела зазывно, царственно. Он вспомнил люстру Большого театра в Москве. Ребенком отец водил его туда на спектакли. Игорь замирал от счастья, когда Зигфрид в балете обнимал Одетту. Он капризничал и плакал, когда по сцене носился, в расшитой золотой нитью безрукавке, Эскамильо и пел пронзительным, рвущим уши тенором: «Тореадор, смелее в бой!»

Вспомнил гигантскую, как чудовищный спрут южных морей, страшную люстру в буэнос-айресском театре «Колон». Когда они танцевали с Ольгой в «Колоне» танго лисо, ему чудилось – ослепительная люстра сейчас сорвется с петель, начнет падать, валиться со звоном и смехом на их голые, беззащитные головы.

Здравствуй, третья люстра. Бог троицу любит – не зря.

Он вошел в открытую дверь.

Глава пятая

*Но мир – не музыка. Но мир —
Он Богом слеплен, не тобою,
Из грязи, из вонючих дыр,
Из бирюзы под злой стопою.
Из воплей рабьих и костей
Солдатских; из телес, что тестом
В котле зимы взойдут в людей,
Займут средь звезд на небе место.
Его ты не преобразишь.
Не выродишь – бессильна баба!
И смоляной петлей – Париж:
Голгофа, Мекка и Кааба.*
Анна Царева. «Жан-Кристоф»

– Проходите, проходите, малышка! О, вы замерзли, должно быть! Такой дьявольский ветер! О, я сейчас сварю нам горячий кофе! Обожаю варить кофе! Проходите, что вы топчетесь! Идите, не бойтесь, они вас не укусят! Никто! Они у меня смиренные!

Ольга Хахульская приехала к мадам Луиз Мартэн в ее загородный дом, ибо мадам Мартэн считалась лучшей тангерой не только Парижа – Европы. Ольга предусмотрительно купила в лучшей кондитерской самый роскошный торт, заняв на это дело денег у консьержки. Пока ехала в Пасси в вонючем автобусе, украдкой нюхала коробку с тортом и облизывалась, как кошка.

Почему никто, никто не сказал ей, что мадам Мартэн живет не в доме – в зверинце!

Парижское прозвище мадам Мартэн – Мать Зверей. В собственном доме в Пасси у мадам жили кошки, собаки всех мастей, ручной медведь, белые крыски, индийский питон, две черепахи и один павлин!

Павлин вышел навстречу Ольге, блестя красным злым глазом. Стоял-стоял, думал-думал – и распустил хвост: приветствовал. Или презирал?

– Ах, малышка моя! Ему павочку надо! Парочку!

«Это мне, что ли, паву на Блошином рынке идти покупать?» – сердито думала Ольга, стягивая лайковые, потрепанные, еще аргентинские перчатки: швы аккуратно, незаметно зашиты шелковыми нитками. Поставила на стол торт, залилась краской.

Собаки уже сидели вокруг стола, подняв морды. Два дога, мышастый и бархатно-черный; французский бульдог; русская борзая. Ручной медведь ходил по дому без цепи, свободно. Вошел в гостиную, вразвалку подбрел к столу, втянул мокрым квадратным носом запах торта из круглой коробки. Ольга вздрогнула, улыбнулась натянуто, беспомощно.

– Мужик, иди, иди! – Мадам Мартэн замахала на медведя руками. – Его зовут Мужик; мне его еще медвежонком ваш Великий Князь Владимир Кириллович подарил! – Мадам произнесла: «Владимиг Кигиллевитш». – Валерьян, тубо!

Погрозил мышастому догу пальцем. Дог жалобно, просительно подвыл – и поднял лапу. Так сидел, и во влажных глазах билась, горела любовь.

«Животные любят сильнее, преданней, чем мы». Ольга протянула голые пальцы к бечевке, чтобы развязать ее и обнажить торт.

– Позвольте, я! – Мадам подскочила, сухенькая, крошечная, высохшая в гербарии ромашка, и волосы осыпались, как белые лепестки. – Не утруждайтесь! Отдохните в кресле, вот модные журналы!

Со спинки кресла на стол прыгнула маленькая волосатая обезьянка с лиловыми губами и желтым голым животом. Ладонки и стопы у нее были тоже голые, гибкие, как у ребенка. Она опередила мадам – ухватилась за бечевку, стала ее рвать, кусать длинными зубами.

– Колетт, пошла вон!

Мадам Мартэн легонько хлопнула обезьянку по затылку. Ольга вдохнула запах гостиной: зверья шерсть, зверья моча. Ее замутило. Сейчас мадам развяжет торт, и ее вытошнит прямо на его кремовые кремли.

– А русскую борзую вам тоже Владимир Кириллович подарил? Чудесный черный дог, как с картины Брейгеля! «Охотники на снегу», помните?

Болтала без умолку, чтобы не вырвало. Медведь взмахнул лапами, издал то ли крик, то ли стон. Мадам благоговейно сняла крышку с коробки.

– Есть просишь, ах, Мужик мой, золотце! – Мадам схватил со стола серебряный нож, отмахнула щедрый кусок. Бросила медведю, он ловко поймал кусок обеими лапами. «Как человек», – Ольга поморщилась, превратила гримасу в вежливую улыбку.

В клетках над головами женщин защелкали, хором запели птицы: щеглы, волнистые попугайчики. Белый хохлатый попугай ара с темно-красным, как ягода, клювом проскрипел:

– Шар-р-р-ман! Шар-р-р-р-ман!

Белая крыса метнулась под ноги Ольге. Ольга подобрала под себя ноги, завизжала.

– Ах, простите! Так неожиданно...

Мадам Мартэн, хитро улыбаясь, поглощала торт. Откусывала изысканное печиво маленькими кошачьими зубками. Огромный белый персидский кот, муркнув, прыгнул ей на колени. Заурчал громко, на всю гостиную.

– Мишель, Мишель! Ах, мон амур! Рыбки хочешь?

«Все белые: кот, попугай, крыса. Как снеговые».

Под сквозняком, налетавшим из открытых дверей веранды, чуть позванивали стеклянные слезки люстры.

– Чудный торт! Погодите, кипяток готов, сейчас – кофе!

Старушка метнулась к спиртовке. Будто сокровище, бережно взяла в высохшие куры лапки турецкую джезvu. Высыпала в нее кофе из коробочки ореховой, отделанной медью кофемолки. Разнесся пряный, крепкий аромат.

«В Буэнос-Айресе мы с Игорем пили кофе так кофе! Не чета этому... Parbleu! К черту Игоря!»

Мадам разлила кофе в чашечки величиною с ракушку. Ольга отхлебывала, хвалила.

– Мадам Мартэн, я хочу взять у вас несколько уроков танго.

– Я поняла, зачем вы приехали! – Мадам подмигнула Ольге, как бандит бандиту. – Это дело надо отметить!

Рядом с джезвой, стоявшей на массивной чугунной подставке, появилась пузатая бутылка коньяка «Сен-Жозеф».

– О, ронский коньяк!

– Я родом с Роны, малышка. – Старуха разливала коньяк в круглые бокалы еще ловчей, чем кофе. – За успех!

– За танго!

Выпили. Медведь сел около кресла-качалки, растопырил задние лапы, переднюю, выпачканную в креме, облизывал старательно. Ольга опьянела, вскочила из-за стола, уже бесстрашно подбежала к медведю. Погладила его по голове.

– Да он ручной!

– Он ручной настолько, что я с ним танцую. Станцуйте и вы!

Ольге кровь бросилась в голову. Схватила медведя за лапы. Он встал послушно. Поднимал задние ноги: раз-два, раз-два! Ольга крутилась, наклонялась, даже сделала болео, ганчо. Танцевала танго с медведем! Умора!

Мадам Мартэн хлопала в ладоши, кричала:

– Та-ра-ра-ра! Ту-ру-ру!

«Так в Москве... на Арбате... однажды... цыганская девчонка с медведем плясала... Помню белые зубы, золотые серьги до плеч... А юбка рваная... И медведь пляшет, а – на цепи... на чугунной, тяжелой... не убежит... А цыганка в бубен била! Расстреляли давно твою цыганочку. Во рву белые косточки ветер гладит. А ты – живешь. Спаслась».

– Танго с медведем! О! Шарман! Близ Нотр-Дам! Вы собрали бы много денег, сударыня! Это был бы номер!

Ольга запыхалась, шутливо поклонилась мохнатому тангеро, села к столу. Остановившись, ледяными глазами глядела на недоеденный торт.

Предстояло самое страшное.

– Мадам. – Голос внезапно охрип. – Я не просто хочу брать у вас уроки. Я сама тангера. Танцевала в Аргентине. Свою школу танцев держала. Не танцевала давно, да, и искусство надо освежить... вспомнить. Я... у меня нет денег, платить за уроки. И не только. У меня нет денег на жизнь. Возьмите меня к себе! В компаньонки. В служанки. Если вы занеможете – преподавать буду я. За вас. А в свободное время – заниматься хозяйством. Ваши ученики останутся довольны. Деньги все... буду вам отдавать. Платите мне только за домашнюю работу. Я хорошая тангера, мадам!

В глазах стояли слезы. За окном шумели на ветру зеленые, золотые деревья.

– Хм, – произнесла мадам. – Вы грустная, малышка моя. Что с вами?

Ольга не смогла удержать это в себе.

– У меня пропал муж.

– Пропал? – Выщипанные брови мадам взметнулись.

– Ушел.

– О! Ушел! Мой Бог! Вернется! Муж загулял, это с мужчинами бывает! Вам надо развеяться. Я вам дам адрес. Салон мадам Стэнли. Моя подруга. Чудо-дама! У нее собираются художники, поэты... Сходите! Вы там произведете фурор!

Вскочила, поджарая борзая, хлопнула в ладоши. Повелительным, властным стал умасленный коньяком взгляд.

– Хватит торта! Я про торт знаю все! Беречь фигуру! Ну, давайте! Покажите, на что вы способны!

Ольга тоже встала, оглянулась по сторонам.

– С кем буду танцевать? Опять с медведем?

Шутка не вышла. Мадам Мартэн пронзила Ольгу глазами.

– Со мной!

Поворот. Ганчо. Нога легким взмахом вонзается в воздух между бедер. Задрана юбка. Так удобней. Носок ловко рисует на полу очос, восьмерки. Восьмерка – знак бесконечности. Знак смерти, из которой рождается жизнь. Странная старуха, волшебная. Лицо молодое. Ласка горячих, сухих рук. Скользят по пояснице, по животу. Скользят по бедрам. О, да она лучше мужчины танцует! Она – лучше мужчины. Живот раскрывается розой. Резкое, сильное болео. Мах ногой назад. Потом – вперед. Ноги скрещаются. Ноги вспыхивают и горят. А глаза? Зачем глаза? Чтобы глазами – любить. Колдовство! Музыка обжигает локти, запястья. Сухие старые губы наполнились живой кровью, юной. Хотят поцелуя. Странное, страшное танго. Самое вечное в мире.

Две женщины, старая и молодая, танцуют тебя. Две женщины, два бокала с хорошим вином. Ни у той, ни у другой и в мыслях не было, чтобы...

Летят, вытянувшись, как птицы, два журавля, на диване. Обнимаясь, смеясь, на пол ска-
тились. Танго – любовь стоя. Объятыя – танго лежащих, счастливейших тел. Страшно все все-
гда впервые. Женщина целует женщину, и теплые губы обращаются в боль и прощенье, а язык –
в вечный заговор. Голая грудь, голубка, просится в чашу голой ладони. Танго, ты ласка, послед-
няя ласка. Последняя острая дрожь.

*

Семен Гордон шел на важную встречу. Пронизывающий до костей ветер, о, это плохо. Он давно кашляет; чертов туберкулез – семейная болезнь Гордонов; и у Анны в роду были чахоточные. Надо беречься. Надо хорошо питаться. Усмехнулся горько, плотней запахнулся в потертый плащ.

На те двести франков, что позабыл у них на столе приبلудный шулер, они с Анной купили теплое пальто Нике и хорошую зимнюю обувь Александре. Остальные тратили на еду.

Але строго внушили: никогда не води домой незнакомых людей. Аля кричала сквозь слезы: а если человек в беде?! Анна заткнула уши и закрыла глаза.

Мир не давал ей писать стихи. Семья грызла ее стихи изнутри, выедала вдохновенье, как китайская крыса, накрытая банкой на человеческом животе, выедает кишки и желудок.

Семен понимал это. Что он мог сделать?

Шел на встречу с человеком важным и страшным. Уже ничего не боялся.

Знал, что попросят. Что – прикажут. Сколько – заплатят.

На улице Буассоньер, в Русском Центре, лестницы – из белого мрамора, стены – из зелено-хвойного, из кроваво-мясного. Его встретили двое в темных пиджаках, в стерильно-белых рубашках. Провели в кабинет. За столом – грузный господин, башка как груша, щеки стекают на воротник мундира, глаза бешеные, белые, ледяные.

Не господин, а – товарищ.

Там, в СССР, все – товарищи. А в Париже?

– Товарищ Гордон? Здравствуйтесь.

Семен шагнул вперед.

– Мы знаем про ваши успехи. Вы молодец. В Кремле внимательно изучают все ваши бумаги. Вы оказываете нам неоценимую помощь.

Семен наклонил голову. Внутри все дрожало.

– Спасибо.

– Где же ваше «служу трудовому народу»?

– Служу трудовому народу.

– Вольно. – Человек-груша улыбнулся. Тяжело выпростал обильное тело из-за стола. – Я и не ожидал, что бывший белогвардейский офицер окажется таким патриотом нашей Советской Родины... здесь, за ее рубежами.

Семен по-волчьи оскалился. Только бы он не заметил, как дрожат пальцы!

Медленно, чугунно ступая, человек подошел ближе, совсем близко. Семен чувствовал запах хорошего табака и лимонной цедры. И затхлый, нафталиновый дух мундира.

– У нас к вам серьезное задание. – Человек помолчал; дышал тяжело, с присвистом. «Астматик, а курит». Семен заметил малахитовую пепельницу на столе, доверху полную окурками. – Очень серьезное. Вы. Должны. – Еще сделал паузу. – Убрать. Одного. Человека. Предателя. Не один. Вам помогут.

«Даже не спрашивает, согласен ли я». По спине Семена под рубахой пополз пот, обжигая хребет.

– Что я должен делать?

«Хоть бы денег заплатили. Хоть бы денег».

У него закружилась голова. Стоять на ногах, стоять!

«Если откажусь, убьют меня. Соглашаться! Я уже согласился».

Человек-груша подергал пальцами верхнюю губу. Шагнул к столу, выбил из пачки «Герцеговины флор» папиросу, вынул из кармана зажигалку «Dunhill». Семен глядел мертвыми глазами на огонек зажигалки, как на огонь свечи.

– Вас свяжут с цепочкой исполнителей. Вам скажут имя. У вас будет главный. Слушайте его во всем. Вы познакомитесь с подробной разработкой вашей части операции.

Семен проглотил ком вязкой, горькой слюны.

– Надеюсь, я не буду последним звеном в цепочке?

«Почему ты прямо не спросил, ублюдок: я убийца? Или – другой?»

Живая груша медленно, нахально улыбнулась. Семен увидел под вздернутой губой ряд золотых зубов. «Может, цинга. Может, выбили! Пытали? Воевал?»

– Это вам скажет главный. Павел! – возвысил голос. – Проводи товарища Гордона к генералу Саблину!

Стуча каблуками наваксенных сапог, подошел солдат.

Гордон покорно пошел за прямоспинным, обритым под ноль русым солдатиком по красному ковру длиннущего коридора, и думал о себе: «Я овца».

*

Салон Кудрун Стэнли гудел и пылал. Светился и искрился. Знаменитая на весь Париж люстра Кудрун Стэнли нависала над головами и плечами, над руками в перстнях и над хохочущими лицами гостей, как громадная, брызжащая желтым оливковым маслом сковорода.

Кого тут только не было! Знаменитости одни. Париж судачит о них, перебивает им косточки. А вот они – все тут, у нее! Джованни Монигетти с безумным взором. О, живописец хоть куда. Хоть сейчас в Лувр! Да никому его картины не нужны, его наглые, сексуальные, волоокие нагие дамы на взбитых подушках. Мастер ню! Но не мастер жить. А настоящий художник, успешный, востребованный, должен быть не городским сумасшедшим, а – мастаком! Надо уметь себя продавать!

Вот как, к примеру, эти двое. Вон, вон, беседуют в углу! Пако Кабесон и Сальваторе Баррос. Оба испанцы, оба чужаки в Париже. А Париж – уже у их ног. Пако, ты молодец! Десять рисунков в день, и в месяц – по десять холстов! Скоро Париж работами завалишь! А ты тоже хорош, Сальваторе. Красишь арбузы в желтый цвет – и катаешь их в детской колясочке по Люксембургскому саду! А усы-то, усы – длинней, чем у рака! Однажды омара вареного положил на голову, клеем к затылку приклеил. Парижане шарахались! Эпатируй и дальше публику, Баррос! Она того достойна!

И у Пако, и у Сальваторе недуром покупают картины. Разбогатели!

А Монигетти только табачный дым глазами стрижет. Работает тоже много; а толку? Себя не продашь дорого, скандально, напоказ – ничего со славой не выйдет! Слава любит наглых, дерзких и умелых. Оборотистых! Веселых!

Читайте новые стихи, поэты! Читайте их в табачном дыму своей жирной жабе, своей Кудрун! Ибо Кудрун – ваша слава! Кудрун – ваш сногшибательный успех! Ибо только Кудрун откроет вам двери в бессмертие!

В тени фикуса на антикварном табурете сидела молоденькая девчонка, кормила грудью ребенка. Ребенок попискивал, покряхтывал. Женевьев Жанэ, жена Монигетти. Первенца кормит. Скоро итальяшке нечем будет семью кормить, если не прославится, остолоп.

У бильярдного стола поэт читал стихи по-русски. То и дело поправлял пальцем старомодное пенсне. Стекла блестели. Пиджак висел на плечах, как на вешалке. Про что читает? А, про их русский храм, что на рю Дарю!

Жирная жаба немного понимала русский язык. Русские эмигранты наводнили Париж. Париж стал наполовину русским городом, parbleu!

*– Это две птицы, птицы-синицы,
Ягоды жадно клюют...
Снега оседает на влажных ресницах.
Инея резкий салют.
Рядом – чугунная сеть Сен-Лазара:
Плачут по нас поезда.
В кремах мазутных пирожное – даром:
Сладость, слеза, соль, слюда.
Грохоты грузных обвалов столетья.
Войнам, как фрескам, конец:
Все – осыпаются!
Белою плетью
Жги нас, Небесный Отец...
Сколь нас молилось в приделах багряных,
Не упомянешь числом.
Храма горячего рваные раны
Стянуты горьким стеклом...*

А хорошо, черт побери! Здорово: «грохоты грузных обвалов столетья». Двадцатый век, да, ты даешь прикурить! А то ли еще будет! Все говорят, кричат и шепчут: война, война! Да ведь миру не жить без войны. Так Бог все придумал, о, шельма. Тихо, сейчас он бросит читать! И можно будет публику развлечь. Она уже придумала развлечение!

*– Встаньте во фронт. Кружевная столица,
Ты по-французски молчи.
Нежною радугой русские лица
Светятся в галльской ночи.
В ультрамарине, в сиене и в саже,
В копоти топок, в аду
Песых поденок, в метельном плюмаже,
Лунного Храма в виду!
Всех обниму я слепыми глазами.
Всем – на полночном ветру —
Вьмою ноги нагие – слезами,
Платом пурги оботру.*

Проклятье! Великолепно! Финиш. «Плат пурги», magnifique. Ты получишь свою порцию рукоплесканий, старый Орфей.

Кудрун всплыла страшным жирным поплавком из бархатного кресла, хватая воздух ртом, ударила три раза в пухлые ладони и хрипло крикнула прокуренным голосом на весь зал:

– Это божественно! Да здравствует Казакевич!

И все забили в ладоши и на разные голоса закричали:

– Vive! Vive! Vive Khazakhevitch!

Поэт раскланялся. Напротив него, на другом конце бильярдного стола, стоял высокий, мощный в плечах человек, грыз густую щетку моржовых усов, все писал, писал в толстенький блокнот толстым плотницким карандашом. А, Энтони Хилл. Прикатил сюда из своей Америки. Очарован Парижем. Тоже, пройдоха, хочет его завоевать! Ах, янки, кишка тонка!

Кудрун, покачивая обширный холодец тела на странно тонких, кривых ножках, переваливаясь, как утка, с боку на бок, подошла к американцу.

– Что пишем, Эн?

Звала его просто Эн.

Хилл отвлекся от блокнота. Взял толстую руку Кудрун, нежно поцеловал.

– О чем я могу писать, Кудрун? О Париже. Париж пьянит меня. Париж – крепчайший арманьяк. Я потерял голову.

– Потерял бы ты лучше голову от какой-нибудь свежей молодки, Эн! Гляди, какая птичка! Кающаяся Магдалина!

Мадам Стэнли кивнула на Ольгу Хахульскую. Ольга мило беседовала с поэтом в пенсне. Ага, русские голубки встретились. Теперь водой не разольешь.

– Ну, на Магдалину она мало похожа. Скорее на грешную царицу Иезавель.

– Ты образован, Эн. Есть новые публикации?

– А как же. В «Le Figaro». «Domino Press» обещает издать книжку парижских рассказов.

– К черту рассказы! – Кудрун исковеркала расплывшееся лицо ужасной гримасой. – Пиши роман! Роман – это чтиво! Это будут читать и любить! Так ты завоеешь Париж! А рассказы – дерьмо! Проба пера!

Хилл хохотал, топорщил усы. Молодой, а усы седые. Она тоже вся седая, и иранской хной красит жалкие, жидкие волосенки. Зато на жирной шее – брильянты от Юкимару!

Пако Кабесон выхватил цепким глазом из гудящей, шевелящейся одним громадным блестящим, пестрым хищным телом, табачной, смеющейся толпы смуглое, с тонкими нежными чертами, лицо Ольги. Ольгина кожа еще сохраняла аргентинский загар. Он намертво въелся в нее.

«Испанка, должно быть, так смотрит: неприступно и соблазняя».

Мадам Стэнли, переваливаясь, подшагала к Ольге и взяла ее за руку. Подняла вверх Ольгину руку.

– Медам, месье! Конкурс! Конкурс!

Ольга скосила глаза на лысый затылок Кудрун – испуганно, недоуменно. Рука затекла.

– Господа, вот натура! Кто умеет держать в руках кисть и палитру – садитесь! Пишите! Награда – вот! Мой перстень! – Кудрун помахала в воздухе жирной рукой, в свете люстры блеснул огромный сине-зеленый камень, старая афганская бирюза.

– Мало! – крикнул голос из гущи гостей.

– Мало?! И – поцелуй натурщицы!

– Что вы делаете! – слабо крикнула Ольга, пытаясь высвободить руку. Кудрун держала крепко.

– Молчите, – прохрипела. – Я знаю, что делаю. Хотите прославиться? Или сдохнуть под забором? Я делаю вам имаж!

Ольга прикусила язык. Подали табурет – тот, на котором сидела и кормила младенца Женевьев Жанэ, времен Людовика Шестнадцатого. Натуру усадили. Принесли кусок алого панбархата, накинули Ольге на плечи.

– Пурпур – цвет королей!

«Красный флаг. Пролетарское знамя».

Натурщица катала язык во рту, как леденец. Отчего-то стало смешно, будто щекотно, от множества пристальных, раздевающих взглядов. Тащили мольберты, выдавливали на воню-

чие палитры краску из тюбиков. Напивали скипидар в плоски. Да тут царство художников! Этот конкурс – не первый! Тут всегда такой балаган!

Ее жгли глаза мужчины, похожего на смуглого ангела. Безумный взгляд, обреченный. Он быстро махал кистью по холсту, будто опаздывал, будто бежал от пожара, от гибели. Ее гладили глаза усатого франта – Боже, таких усищ не видала она никогда! Ее сверлили глаза маленького мужчинки, почти карлика, он тоже спешил, ударял кистью, как шпагой. Выпад. Еще выпад! Сраженье! Искусство – это сраженье. Кто выиграет? Кто победит?

Самый сильный, в чем вопрос.

Ольга выгнула спину. Стать танторки, профиль святой. Красное знамя на плечах, может, она прикатила из Совдепии? Хорошо говорит по-французски, но не безупречно. Господа, глядите, как блестит плечо! Как кожура граната. Она сама похожа на гранат: смугла, и губы темно-алые, и сладкие, должно быть. Молчите, господа, работайте!

Художники работали. И время остановилось.

Опять пошло, когда Кудрун, раскачиваясь жирным колоколом, прошла мимо выставленных на обозренье холстов.

Ее портреты. Портреты Ольги Хахульской.

Ее написали маслом на холстах настоящие художники, здесь, в Париже!

Облизнулась, как лиса. Стянула с плеч красную бархатную тряпку.

Кудрун остановилась около холста Пако Кабесона. Сдернула с толстого пальца бирюзовый перстень – и подала Пако.

Все закричали: «Пако! Пако!» Испанский карлик бросил на пол кисти и палитру и подошел к Ольге. Он ростом ей по грудь. Он победил. Бирюза Стэнли у него на руке. Поцеловать этого скотчтерьера?! Никогда!

Пако встал на цыпочки. Закинул руку Ольге за шею. Пригнул ее голову грубо. Впился губами ей в губы. Она и пикнуть не успела.

Игорь видел это. Он сидел на венском стуле за портьерой. Надвинул на лоб краденый мусульманский берет. Тень от портьеры ложилась ему на лицо и колени. Он здесь никого не знал, и его не знал никто. Узнает ли когда?

Завели граммофон. Самые модные пластинки ставили.

Шимми сменял кэк-уок, чарльстон – томное танго. О, танго Освальдо Пульезе, какое ты чудо! Женщины откидывались назад, будто хотели упасть, мужчины ловили их на лету, и женские ноги дерзко вздергивались, юбки ползли вверх, обнажая бедра. Медленно, страстно, все ближе! Это любовь, только не лежа, а стоя. Это танец тоски и признанья.

Задыхайся и танго танцуй. На том свете не потанцуешь!

Все, все – лишь здесь и сейчас. Танго страсти, а может, ты танго смерти? Если изменишь – кинжал под полой. Поглядишь на другого – застрелю! Ножи, револьверы и яд, вы перед страстью бессильны. Это все обман. Все музыка. Головы кружит.

Одни танцуют, другие беседуют. Каждому свое.

– А вы слышали, в Германии кавардак? Молодежь сбилась в новую партию.

– А, идеи фашизма! Эта мода пройдет. Нечего беспокоиться. Ну и что, Муссолини убил пять евреев и замучил десять кошек? Христа распяли – и то народ не плакал!

– Говорят, у них фюрер.

– В России вон тоже: один вождь, другой.

– И что? Вы против социализма?

– А вы представляете себе Францию – социалистической?

– Я? Нет. Ха, ха, ха!

– Господа, ни слова о политике!

Сняли с граммофонного диска пластинку. Захлебнулось танго маэстро Пульезе. Теперь – быстрый фокстрот!

И фокстрот станцевали.

– А теперь – экзотика, медам, месье! Индийские танцы! Бхарат натьям! С жестами мудра! Классика!

На середину зала вышла девочка, удивительно наряженная. Широкие, ярко-розовые шаровары. Расшитая золотом и серебром кофточка-фигаро. На голове – странный убор в виде огромной митры, унизанный крупным жемчугом; лоб обнимает золотая цепочка, в цепочке пылает красный, гладко обточенный кабошон. Звенят браслеты на запястьях. И на лодыжках – звенят. Босая. Ногти на руках и ногах, ступни и ладони разрисованы мелкими красными узорами. Будто ногами, руками давила ягоды. И сок не смыла.

Прелестная кукла. Мастер, мастер делал ее. Изящно сработал. О, и двигаться как грациозно умеет! Одна куколка пляшет, другие куклы бьют в ладоши.

– Кто это?

Хилл наклонился к мадам Стэнли, пощекотал ее щеку усами.

– Индуска. Звать Амрита. Приемная дочь Дурбин. Приятная крошка, а? Танец Парвати!

Девочка в розовых шароварах присела, раздвинув ноги. Это жест близости к земле, Ольга знала это. Испанский карлик, живчик, не отставал от нее. Вился вокруг нее, как пчела над медом. Она отмахнулась: подите прочь! Пако упрямо ухаживал: нес от накрытого рядом с бильярдным стола бокал с шампанским, разрезал апельсин ножом – шкурка в виде морской звезды.

Игорь глядел из-за портьеры, сжимал в кармане две железяки: револьвер и браслет.

Танец Парвати закончился. Все захлопали. Стэнли довольно курила. Игорь, прикрыв беретом пол-лица, ринулся к индуске, за руку – цап! – и поволол за собой, к подоконнику.

Уселись оба на подоконник. Игорь задержал портьеру.

Вытащил из кармана серебряную змею.

Хоп! – ловко надел браслет на руку девочки.

– На! Твое!

Зачем так поступил? Не мог себе объяснить. Мысли метались. Прощай, змея, а так хотел продать! За такую массу чистого серебра в ювелирной лавке много бы дали.

– О! Гран мерси!

Оба плохо говорили по-французски. Оба так недавно в Париже. Еще не научились. Индуска говорила побойчей, чем он.

– Кто вы?

Игорь водил глазами по коричневому лицу девочки. Все коричневое, шоколадное: губы, скулы, щеки, лоб, глаза. Вспомнил московский темный шоколад от Эйнема, и детская забытая сладость повисла, растаяла на губах. Выпить шампанского, что ли?

Еще раз не подойдет к столу. Вдруг Ольга узнает его!

– Я? Бродяга. Никто!

– И дарите такую... такой...

Она не знала, как по-французски «браслет».

– Это браслет моей матушки.

Наврал, а она поверила. Наклонилась и смешно, по-детски поцеловала его.

– Где вы живете?

– Нигде.

– Никто, нигде, о, как печально! – Она смеялась шоколадными губами. – А где же будете жить?

– Здесь. Под бильярдным столом. Попрошу мадам Стэнли, она разрешит.

Теперь и он смеялся.

Смеялся – и пытался расслышать, о чем говорит этот испанский, перемазанный масляной краской уродец Ольге. Его Ольге.

Пако держал Ольгу за руку. Если бы она могла, она бы оглохла на время. Чтобы не слышать того, что Пако лепетал ей.

– Выходи за меня! Не пожалеешь. Я богатый! Мои холсты продаются направо и налево! Я выстроил себе огромную виллу у моря. В Санари, близ Ниццы! Поцеловал тебя – и теперь вкус твоих губ не забуду! Не могу уже без тебя, слышишь!

Ольга не знала, хохотать ей или плакать. На них, любопытствуя, смотрели. От них отворачивались, пили шампанское, курили. Рядом с ними целовались. В салоне мадам Стэнли царили свободные нравы.

Пако закурил, их обоих окутал табачный дым. Я сижу в дыму как в шубе из чернобурой лисы, подумала Ольга.

– Согласна.

Сказала это тихо. Пако не услышал.

«Я никогда больше не буду подметать за деньги. Варить за деньги. Убирать за деньги. Я не буду даже умирать за деньги. И танцевать за деньги больше тоже не буду. У меня будут деньги. Будут деньги!»

– Что, что? Повтори!

– Согласна! – крикнула Ольга пронзительно, и мальчик в сером мышинном смокинге от испуга выронил из рук бокал с шампанским. Бокал разлетелся вдребезги. Шампанское растеклось по полу.

– На счастье, – прошептал уродец восторженно.

*

Игорь и индуска глядели друг на друга. Рты бросали слова, а беседовали глаза и души. Им было все равно, что говорить. Им тепло было друг с другом.

– Кто твои родители?

– Я сирота.

– Тебя часто приглашают выступать?

– Второй раз. Здесь. Мадам Стэнли сказала, что меня будут снимать на кино! Простите... в кино!

– О, кино! Отлично!

– Мадам Стэнли хочет поехать в Индию и Тибет. Снять там фильм о Востоке. Она сказала – к ней приедет из Германии женщина. Она снять... снимать... кино. Ее зовут Ленни Риттер. В Германии жить плохо. Сюда приходит один человек. Он пишет книги. Его зовут... о, забыла. Интересный! Да, Россель. Убежал из Германии. Его хотели сжечь в печи за его книги!

– Где, где?!

– В печи. В такой специальной тюрьме. Там держат много людей, изучают их, бьют их. Потом сжигают. Так в Германии. Мадам Стэнли мне говорила. И еще маман.

– Так у тебя есть мать? Она индуска? Она жива?

– Есть. Чужая мать. Не знаю, как это по-французски.

– Неродная.

– Неродная.

– Приемная!

– Да, приемная.

– Хочешь шампанского? Тогда принеси два бокала. Мне и тебе.

Индуска улыбнулась. Слишком белые зубы; слишком смуглые щеки. Совсем ребенок.

– Я не хочу вина. Я не пью вина. Я хочу конфету.

Она подошла к столу, взяла две конфеты и апельсин и вернулась.

Ели конфеты. Игорь очистил апельсин и выбросил кожуру в кадку с фикусом. Разломил фрукт надвое. Глядел, как девочка жадно ест, утирает сок с подбородка. Рука коричневая, а ладошка розовая. Как у обезьянки.

Глава шестая

*Вы за оконными решетками.
Вы за смешными жалюзи.
Вы в булочных стоите – кроткими,
И лишь – пардон, шарман, мерси.
Вы каблучишками – по гравию.
Вы шинами – по мостовой.
Вы парижанам всем потрафили:
Вы представляете живой
Страну, давно уже убитую,
Что – во гробах – во рвах – мертва.
... Ты! Над стиральными корытами
Клонись, Психеи голова.*

Анна Царева. «Черная моль»

У Прохора Шевардина – русские посиделки. Пирушка, как встарь, в Москве.
За окном гудит Париж, а в гостиной – Москва.

Чужбина, сегодня тебя нет. Сегодня – никакой французской речи в шевардинском доме! Только по-русски говорят. По-русски глаза блестят. По-русски вздыхают. По-русски шевелят кочергой дрова в русской печи – не во французском камине. Шевардин велел архитекторам у себя дома печь сложить. Как в детстве, на Волге, в Казанской слободе.

Молодые дочери Шевардина, Марфинька и Маша, хлопочут меж гостей, на подносах яства несут. Никакой прислуги нынче! Это его собственный пир! Дочки все сами наготовили!

Жена в кресле сидит. Руки бессильно на колени опущены. Дремлет. Улыбается. Еще минуту назад она увлеченно беседовала с Кириллом Козловым. Когда задремала, голову на плечо уронила – Козлов тихо встал со стула, отошел, палец ко рту прижал. Недавно с нею такое. Внезапное недомоганье; сонливость. Что наша вся жизнь, как не сон? Еще Шекспир сказал. Ах, был бы моложе – Гамлета бы в драме сыграл. А сейчас какой он принц. Развалина старая. Попеть бы еще! Господи, не отбери голос!

Стол огромный, стоит каре. За столом – русские художники, русские артисты, русские танцовщики. И – русские Великие Князья, как же без них? Почитатели Шевардина. На всех его спектаклях в Гранд Опера бывают! Хлопают громче всех! Прямо, как аршин проглотив, сидит сухопарый, гордый Владимир Кириллович. Орлиный нос, руки летают над серебром тарелок и вилок. Знает толк в хорошей еде князь. Нарочно для князя велел Шевардин девчонкам своим приготовить расстегаи с осетриной, тройную со стерлядкой уху, блинов напечь да икры поболее купить. Черной в Париже этом чертовом нет, так хоть красной! Caviar тут дорого стоит, ну, да он не пожмотился! Не поскаредничал! Да крошки велел наделать; ах, холоденькая окрошечка, да с редисом, да с соленьким огурчиком! Спасибо, снедь в ресторанишке «Русская тройка» заказали: стерлядку-то прямехонько из Москвы везли. За морем телушка полушка, рубль перевоз.

Рядом с Великим Князем – супруга его, Великая Княгиня Нина Александровна, урожденная Багратиони. О, красавица! Пока жена в кресле дремлет – поглядеть на нее, на знойную южанку, в косе легкая проседь, улыбка впереди лица летит, – во все глаза! Ах, если б молодость! Шевардин усмехнулся, ложкой положил на блин икры щедро, красными живыми рубинами весь блин закрыв. Изменял он женам, изменял всегда! Да ведь и терпели бабы его, грешного! Любили...

Владимир Кириллович взял рюмку в прозрачные, кости просвечивают, выпитые временем пальцы. Встал за столом. Все умолкли.

– Я хочу провозгласить тост за великого Шевардина! За того, кто не только радуется голосом своим, искусством своим нас всех... и не только нас: всю благодарную публику на всех земных континентах!.. ибо на спектакли с Шевардиным невозможно билеты раздобыть, и поет он так, что сердце в груди переворачивается... Да пенёк – полдела!

Великий Князь обвел острым орлиным взглядом гостей за столом. Среди молчанья раздалась шепоты: как это?.. что это он?.. какие полдела?.. зачем...

Побледнел Шевардин. Сжал ножку рюмки в пальцах – вот-вот хрустнет.

Старшая дочь, Марфинька, закусила губу. Полдела! Как князь посмел!

Жена, Матильда Михайловна, мирно в кресле дремала. Не слышала дерзкого тоста.

Поднял руку Владимир Кириллович. Будто орел взмахнул крылом над склоненными головами.

– Старики мои! Старики наши! Обломки, осколки фарфоровой нашей, драгоценной России! – Голос дрогнул, будто трещина зазмеилась по горлу, по глотке. – Честь и слава Родины нашей обогнанной, поруганной, убитой! Вы – здесь. Вы – в Париже! Цвет русский, слава русская! – Еще сильнее стянулась на горле слезная петля. Плакал князь, уже не стыдясь. Слезы ползли по изрытым, изморщенным щекам, капали на безупречно белый воротник парадной сорочки. – В изгнании доживаете дни свои! В изгнании – плачете и молитесь! Молитесь за землю нашу. За безвинно убитую родню. За погубленную Семью Царя нашего последнего. За... – Передохнул, вздохнул прерывисто. – За людей наших русских, за казаков и солдат, за крестьян и офицеров! За священников и монахов! За аристократов... и простолюдинов, ибо все они – есть наша Россия!

Молчанье за огромным столом. Молчит каре. Наклонены старые, седые головы.

Слезы в салаты, в крошку стекают.

Людская крошка. Кровавый винегрет. Крошево мира, месиво судеб.

Вон куда тост повернул!

– Вы, старики мои... – Обвел глазами гостей. Рюмка дрожала в руке. – Есть в Париже один человек. Есть – один дом! Где вы всегда – накормлены, напоены, ласковым словом согреты! Где вы – тут же – в России, едва переступили порог! И дом этот – дом...

Оглянулся на певца. Тот сидел напрягшись, будто ждал выхода за кулисами – перед темной пастью партера, перед грохочущим зала прибором.

– Прохора Иваныча Шевардина!

И взорвался стол! Загудела пирушка! В восторге вставали, стулья роняя. Пили до дна, что налито в бокалах: водку, коньяк, бургундское. Закричало «браво!» гостевое каре, хоть не пел тут Шевардин, а ел и пил лишь!

И встал бычье огромный, крупноголовый Шевардин. Ему в рюмку – водки плеснули.

Встал, и актриса Дина Кирова, кудрявую головку задрав, в страхе подумала: Господи, как исхудал-то, сердешный...

– Алаверды!

Рюмку поднял. Ртутно, ледяно блеснула Смирновская водка в граненом хрустале.

– Благодарствую, светлейший князь Владимир Кириллович. – Старался голосом не дрожать, ровно стоять. – На добром слове спасибо. Спаси Бог! – крикнул. – Спаси Бог нас всех! Спаси Бог великую, многострадальную Царскую Семью в изгнании!

Горящими, чуть выпученными, светло-ледяными, властными глазами охватил всех за столом, все живые души.

Не мертвые – души. Души – живые.

– Спаси Бог Россию!

Раскатился голос на всю гостиную. Сотряс своды дома. Еще немного – и треснули, рухнули бы стены. «Труба Иерихонская, прости Господи, Самсон! Давид-богатырь! Илья Муромец...» – думал радостно, испуганно Александр Культин, быстро и жадно водку свою выпивая.

Маленький писатель; маленький человек. Никто и никогда его жалкие парижские рассказы не прочтет; а великого Шевардина слушают все!

– И ныне, и присно. И во веки веков, ами-и-и-инь!

Все с мест повскакали. Княгиня Маргарита Федоровна, преодолевая боль в суставах, поднялась со стула с резной спинкой. Марфинька держала в руке бокал, не сводила глаз с отца. Князь Федор Касаткин-Ростовский воскликнул тихо и робко, его вскрик потонул в общем шуме:

– Многая лета тебе, Прохор!

Нет! Услыхали! Подхватили, запели. Над богато накрытым столом понеслась церковная, православная песня, древнее русское песнопенье, вечная слава:

– Многая ле-е-ета! Мно-о-о-огая лета! Многая, многая, многая ле-е-е-ета-а-а-а!

Шевардин, с пустою рюмкой в руке, стоял и плакал, а рот смеялся. Все зубы, напоказ, смеялись. В Америке новые вставил: старые-то износились донельзя. В копеечку зубы-то встали! Да ведь артист, ему на публике пасть разевать!

Знаменитый писатель Петр Алексеевич Пунин стоя крестился. Бесстрастно ястребиное, сухое лицо, как на фреске во храме у старого столпника. И бедность знал, и богатство, и безвестье, и славу; все тленно, все преходяще. А что – вечно? Вот уйдет Прохор, и вместе с ним уйдет его музыка. Граммофонная запись, жалкое подобье голоса мощного, живого! Рядом жена его, Лизавета, крестилась тоже – и пела славу Шевардину. Барон Александр Иванович Черкасов, с неизменной своею салфеткой, за ворот заткнутой, басом подпевал, толстою ручкой дирижировал. Довольный, розовый, пьяненький уже. Живописец Кирилл Козлов пел, а рука его наливали в бокалы и рюмки, разливала вино: пейте, ешьте, родимые! На том свете-то не покормят!

Шевардин запел – и перекрыл голосом все голоса. Опять задрожали стены, затряслась люстра. Свечи в канделябрах заметались алыми, желтыми языками.

– О, дайте, дайте мне свободу! Я свой позор сумею искупить! Я Русь... от не-е-едруга... спасу-у-у-у!

«Не спасешь, Проша, – думал Козлов, опрокидывая в рот рюмку, – не спасешь, любезный мой. Погибла Россия. Теперь она – разбросалась зернами по свету, рассеялась. Мы – семена. Что взойдет? Или не взойдет, а сгниет в чужой земле, умрет? Господь тому судья. Господь владыка. Только молиться осталось».

Дремлющая в кресле Матильда Михайловна распахнула мрачные, огромные глаза. Будто бабочка-траурница раскрыла крылья.

– Что? – тихо спросила, и дрогнули губы. – Что? Славу поют? Ах, Проша князя Игоря поет! Опять? Я сяду к рояли...

Встала из кресла, и колени подогнулись.

Упала.

Козлов бросился к ней – ближе всех оказался. Под мышки подхватил.

Дыханья уж не было. Сердце не билось.

Холодела быстро, мгновенно.

– Господа! – крикнул Козлов, перекрывая мощь шевардинского баса. – Проша! Скорей! И молчанье обрушилось, как давеча «Многая лета».

*

А в это время на улице Лурмель, в столовой для русских эмигрантов и для бедных парижан, кормили обедом парижскую бедноту. Мать Марина, высокая, крупная, большая голова замотана в черный апостольник, на большом, крупном носу – круглые смешные очки, разливала ополовником луковый суп. О, луковый суп матери Марины! Кто вкушал тебя – никогда

не забудет! Из мелкого отсыревшего лука, из мятой, подгнившей моркови какое чудо можно сотворить!

Еда – чудо. Еще один встающий над миром день – чудо.

– Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, – громко молилась, за столом стоя, мать Марина.

Люди повторяли за матерью Мариной святые слова.

Крестились. Кто-то тихо плакал: от радости. Пар вился над полными супа тарелками. Чтобы суп был вкусней, мать Марина добавляла в него при варке подсолнечного масла и муки.

Около каждого прибора стояла маленькая хрустальная стопочка. Мать Марина наклонилась и вынула из-под стола русскую четверть, наполовину полную водкой. Сама ходила вдоль стола, водку в рюмки разливала. Гости робко молчали, на мать Марину молча взглядывали. Небывалое дело – выпивка! Тихо, сейчас сама все объяснит.

Когда четверть стала пуста, мать Марина прошла на свое место, села. Молчала.

Заговорила – общий вздох разнесся по залу старого особняка.

– Нынче поминки у нас. Нынче поминаем безвременно усопшую. Умерла великая танцовщица. Сверкающая женщина, солнце. Ирландка, католичка... помянем ее по православному обычаю! Я только что с похорон. Были там с отцом Сергием. В Сент-Женевьев-де-Буа. Царствие тебе Небесное, Ифигения Дурбин, раба Божия! Земля да будет пухом!

Мать Марина широко перекрестилась, взяла рюмку и влила в рот водку. Крестилась как мужик; и пила по-мужицки. Баба, крепкая, широкая в плечах. Никто не подумал бы, что в юности ходила, тонкая, в кружевных пелеринках, писала стихи, на вечерах в Петербурге с замирающим сердца слушала Блока, Кузьмина. Стихи, кто вас не писал в те поры?

Ложки застучали о миски. Тихо переговаривались за столом:

– Ну вот и славно, помянули...

– Дурбин, да, знаменитое имя!

– Отчего умерла рано так? Болела?

– Несчастный случай. Длинный шарф попал под колесо авто. Шарфом задушилась.

Бедняжка!

– Двое детей остались. Приемыши. Своих-то потеряла. В Сене утонули.

– О, бедная мать.

– Теперь эти – сироты. Наследников нет; если завещанье не успела оставить, особняк опишут, имущество вывезут. Горе детям!

– А шарф-то, шарф был от Жан-Пьера Картуша. Модный шарф. Авто с места рвануло, петля горло затянула. Мгновенное дело. Виселица, только ногами на земле. Позвонок переломился, и баста.

– Да. Баста. Ах, супчик хорош!

Грели руки над супом; после рюмки – тихо запели.

Сначала из панихидной службы: «Со святыми упокой», и мать Марина подпевала. Потом русскую песню: «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой». Ложки в пальцах дрожали. Голову на грудь уронил старый казак, в форме казачьей, с лицом, саблей иссеченным; седой, глаза круглые, как у совы.

– Вернись, вернись ли когда!

«Никогда не вернешься, – думала горько мать Марина, подливая казаку луковый суп из оловянного, еще московского ополовника. – Никогда, милый. Лучше помолись, чтобы Господь тебе легкую смерть даровал».

Вспомнила строчки из Ивана Тхоржевского: «Легкой жизни я просил у Бога – легкой смерти надо бы просить».

«Все, кто сидит тут за столом в столовой моей – все, все умрут. Все! Тогда как же утешись ты их, живых, Господи?»

Застыла, с ополовником в руке. Девочка в черном платье с кружевным снежным воротничком толкнула ее под локоть.

– Мать Марина, а мать Марина! Суп на скатерть капает!

Монахиня повернула незрячее от слез лицо к юной гостье.

– Как звать тебя?

– Катя Голицына.

– Ешь, Катя. Где живешь?

– В Сент-Женевьев-де-Буа. У меня мама умерла. Я там вышиваю и уроки музыки даю. Можно я к вам перееду? Там старушки все время плачут, грустно мне. Я там в церкви пела, батюшка доволен был, у вас тоже петь могу. Иконы рисовать.

– Ах, богомазка. – Мать Марина погладила Катю по темечку. Ладонью растерла на скатерти супные пятна, раздавила морковку. – Приезжай. Найдем место. Я тебя иконы научу вышивать.

Вышивать, о, superbe!

А вокруг, закончив трапезу, тихо, слезно пели:

*– Передай платок кровавый
Милой лобушке моей...
Ты скажи: она свободна,
Я женился на другой!
Взял невесту тихую, скромную
В чистом поле под кустом...
Повенчальна была сваха —
Сабля вострая моя-а-а-а...
Калена стрела венчала
Середь битвы роковой...
Вижу, смерть моя приходит!
Черный ворон... весь я тво-о-о-ой...*

А потом беззвучно шевелили губами, закрывали матерчатыми руками расписные фарфоровые лица маленькие, милые, старые куклы. Да разве куклы плакать умеют? Они не умеют даже петь. Птицы, птицы за них поют. А они лишь намалеванные алой краской ротики с торчащими, как у зайца, крохотными зубками, печально разевают.

*

Жену Шевардина, Матильду Михайловну, похоронили на кладбище Пер-Лашез. Стоя у свежего могильного холма, Шевардин пробормотал: «И меня, и меня вот здесь, с ней рядом». Художник Козлов один слышал это. Дочери, Марфинька и Машура, плакали так, что носы распухли, как помидоры, а глаза склеились в азиатские щелочки.

На другой день после похорон к Шевардину явился Пако Кабесон. Не один: с дамой. Крепко держал за острый локоть высокую черноволосую, похожую на испанку женщину в белом длинном платье, в невестинной прозрачной фате. Оказалась русской.

– Благословите нас православной иконой, Прохор Иванович! – Голос женщины срывался. Профессиональное ухо схватило: отличные высокие ноты, оперный тембр, ей бы в опере петь. – Вы для меня – бог. Еще когда вы прилетали с гастролями в Буэнос-Айрес... Я ни одного спектакля не пропустила! Вы мне как отец. Вы для меня... вся Россия... которую мы... мы...

Кабесон пришел ей на помощь.

– Мощь России не сломить! Еще поднимет голову! Видите, месье Шевардин, женюсь на русской жене! И, думаю, положу новую моду в Париже! Отныне все французы будут жениться на русских! За русскими женами охотиться!

Шевардин потрепал за плечо друга. Пако ему по пуп ростом. Мал золотник, да дорог.

– Извольте, благословлю! Марфинька, неси сюда икону Феодоровской Божией Матери!

Бережно, как младенца, принял икону из рук Марфиньки. Заступница, Владычица, Царица Небесная... Всех спасет, всех к груди прижмет, плачущих, сирых...

Пако и Ольга встали перед Шевардиным на колени. Хорошо, Машка сегодня полы намыла, юбки да брюки не запачкают.

– Благословляю вас, друзья мои... дети мои... Богородица, не я, благословляет вас...

Тяжело поднял икону. Медленно перекрестил ею сначала Пако, потом Ольгу.

Поднес икону к губам Пако. Потом – к лицу Ольги. Ольгины мокрые от слез губы коснулись позолоченного оклада, как скола льда.

На коленях стоят – оба одного роста.

Протянул Ольге икону Богородицы.

– Возьми... доченька. Теперь она с тобой будет всегда, коли уж благословил.

– Поедемте с нами на венчанье наше, Прохор Иваныч!

– Где венчаетесь-то? На рю Дарю – или в домашней церкви барона Черкасова? Ох, у Черкасова росписи хороши! Сама мать Марина делала.

– На рю Дарю. Отец Николай венчает. Едемте! Прошу!

– Ну, назвался груздем, полезай в кузов. Теперь я твой отец, значит, как дочь-то брошу! Машутка, шубу мне!

– Да ведь жарко же еще, теплая осень, какая шуба, Прохор Иваныч!

– Тихо! Знаю, что велю.

Машенька старательно надевала на отца кунью шубу с бобровым воротником. Искрился бархатно, синезвездно драгоценный мех.

– Марфа, скажи Алешке, пусть разогревает мотор!

Шевардин личного шофера держал, как многие богатые парижане. Сам машину водить не умел, и не хотел научиться.

В церкви стоял гордо, молча, – огромный, высоченный, каланча, выше всех прихожан. Хор пел светло, громко, ярко: «Исайя, ликуй!» Над Ольгой и Кабесоном держали золоченые венцы две послушницы русского подворья в Сент-Женевьев-де-Буа. Послушница вытягивала руки, поднималась на цыпочки, держа венец над головой высокой, длинношеей Ольги. Та, что над кургузым, лилипутым Пако венец держала – наоборот, приседала.

*

Сжать голову обеими руками. Руки холодные, и лбу прохладно.

Горячей голове нужна прохлада. И – молитва.

Молиться она не умеет. Все эти походы в русский храм на улице Дарю – гиль. Не может она воззвать к Богу. Ибо – не чувствует Бога.

Нет! Не так! Бог – везде!

В цветке; в корзинке со снedyю; в теплых ботах Алички; в небесном взгляде Ники. В дожде, поющем в водосточной трубе. В дыме ее папиросы.

Да, это не Христос. Язычество это. Пантеизм? Романтика?

Господи, дай мне Себя. Себя яви, Господи!

Чем больше просит – тем более не приходит. Ну и пусть.

Анна наклонилась над тетрадкой. По столу разбросаны бумаги, бумаги. Рукописи. Ее каракули. Никому не нужные. Ее кровь. Ее боль, ее жизнь.

Все это после ее смерти сожгут в печке! Ее рукописями – печь растопят!

Ну и что, будет людям тепло.

Искривила губы. Зеркало, овал на столе в исцарапанной раме, с потертой амальгамой, лицо отразило: птичий клюв, впалые щеки. Старая седая сова. Женская жизнь кончена! Кому понравится мегера! Измочаленная; измученная.

В насмешке над собой, в ухмылке – зубы себе показала. Проблеснули. Еще жемчуг из волжских перловиц. Еще бешеный свет в глазах-виноградинах. Еще...

Не ври себе. Уже ничего не еще. Уже – все.

Схватила ручку. Ткнула в чернильницу перо. Чернила расплескала. Испятнала десть бумаги. Скорей. Скорей. Писала в задыханье, будто бежала на пожар, на колокол набатный.

*Ах, Боже мой, Боже мой, Боже,
я в платье блестящем – змея.
Как мы с побиружишкой похожи:
она побиружишка – и я.
Швьряют богатые дядьки
смешиную, слепую деньгу...
Ах, длинное, с блесками, платье!
Сегодня же в печке сожгу...
Куда там! Где б ты ни скиталась,
ни жарилась, страшный каиштан,
ни плакалась: милость и жалость!.. —
Париж, Вавилон, Юкатан... —
одна работенка: улыбка,
как у ребятенка, чиста —
и – ярость, и – бешенство скрипки,
и – танец живой живота...
Сопят толстобрылые морды.
И пар – из пастей всех мастей.
А мой позвоночник, что хорда,
румянец – ну как у детей!
...в гримерке – раскрашена краской,
как терем на рю-авеню...
Моя нынче куплена ласка.
Я ночь подарила Огню.*

Бешено мысли неслись в горячей голове, пока писала.

А что, если податься петь в кафэ! Семен говорил – есть кафэ «Русская тройка», в Латинском, кажется, квартале. Вот туда и направить стопы! Она ведь музыкантша; ее в детстве суровая мать носом, как щенка, в рояль сажала! И – гаммы, арпеджио, этюды... и – сонаты, вальсы, полонезы... Нет, Шопена не любила! Сладким, сиропным казался. Любила – Бетховена. Любила – силу и мощь.

Пела бы... глаза закатывая... и себе бы на рояли аккомпанировала...

Старинные русские романсы; цыганские; офицерские. Песни русские пела б, из посетитель слезы выжимала... И – деньги, деньги, конечно...

Ты – петь – за деньги?! Ты, Анна Ивановна Царева – за деньги?!

Пошел вон, ты, Париж. В тебе – за деньги – она – только подметать у богачек и будет!

Перо летело по серой грубой бумаге, скрипело. Семен ей самую дешевую бумагу покупает. В такую – даже не сыр в лавках заворачивают: отбросы.

*Отыдьте, мальчонки с Монмартра,
хльщи с пистолетской Пигаль.
Моя нынче брошена карта.
Я нынче в Париже – мистраль.
Я выйду из кафэшантана,
на снег в ярком платье шагну,
и нож из кармана достану,
и ткань от груди резану.
И выблеснет Солнце! – не тело! —
снопами пшеничных лучей.
Я в танце, я в песне сгорела,
как тьма Боголюбских свечей.
Как сонмы родных – золотоцветных —
крестов – эполет – и погон...
Пупок мой монетою медной
чужбинный ожжет небосклон.*

Писала – и воображала себя на этой грязной сцене, этою вот кафэшантанной певичкой, лисичкой... Проституткой!

А что, тяжек сей хлеб, Аннетт?! О да, тяжек! И ведь многие хлеб сей – в поте лица – зарабатывают! И – за позор труд свой не держат!

Что позорного в том, что ты тело свое продаешь за деньги? Муж содержит тебя – значит, тоже тебя покупает! Разве не так?! Разве...

Перо застыло над листом. Чернила капнули. Ника засопел, потом заплакал тоненько в кровати. Клякса расплылась.

Анна сжала губы подковой. Замерла. Затаилась. К сыну не подошла.

Подождала, пока – переплачет. Утих.

Перо заскребло по бумаге, опять побежало.

Семен на диване повернулся медленно, осторожно, и все же пружины заскрипели.

Они все спали в одной комнате. Чекрыгиным низкий поклон за приют. Да уже насупливает брови благодушная Лидия, многодетная мать. Того и гляди, погонит их с постоя. А куда пойдут? На улицу?

Вечером Семен сквозь зубы сказал: «Мне дали задание, трудная работа, если справлюсь, оклад повысят». Союз возвращенья на Родину, и сидят братья-союзнички в особняке на Буассоньер. Не особняк – дворец! Еще немного, и – Зимний. Что жрут, что пьют, на какие шиши?

Она делает вид, что не знает.

Прекрасно знает! На красные шиши. На рубли с лысою головой Ленина.

Когда ее в Москве на расстрел вели – если б Ленина на пути увидала – в рожу ему бы смачно плюнула. На лысину его. Убийца. Убийца!

Перо скрипело. Чернила брызгали во все стороны, на бумагу, на пальцы, на платье. Она не любила халатов и никогда их дома не носила. Только – платье, только – под горло, строгое.

Грудь свою раньше срока в монашьи ткани упрятала. А зачем? Может, надо – наружу, на волю? Декольте, помаду на губы, папиросу в зубы, и – на Пляс Пигаль?!

Остановилась. Замерла.

Вспомнила, как ее хозяйку, Дурбин, хоронили.

Почести, духовой оркестр. Дубовый глазетовый гроб, венки, живые цветы. Снопы, горы цветов. И все несли и несли. Девочки, приемные дочки, утирали слезы: индуска – батистовым платочком, японка – просто кулачком. Платочка не дали. Никто не протянул. Анна подошла

к ним ближе, пыталась Изуми платок носовой передать. Ее оттеснили. Уж очень много народу собралось, толпа. Не протолкнуться.

Музыка редела и стонала. Эти тубы, трубы! Медные губы, медные рты! Орут. Не заглушить ничем. Если она умрет, у Семушки не будет денег не только на погребальный оркестр – на яму на кладбище, на дыру в земле, чтобы туда положить ее кости. И зарыть, забросать землей.

Нас всех землей забросают. И мои зеленые глаза. Ягоды-виноградины, яркий крыжовник.

В Москве, давно, старый князь Волконский целовал мои глаза. Шептал: о, дитя мое, у тебя очи как у Анны Ярославны. Анна Ярославна, королева Франции. Вот ты и здесь. Вот ты и вернулась.

Где теперь будут жить восточные дети? Дом описали. Имущество пойдет с молотка. Опять в приют? Она не сможет их взять. Двое детей – это горе. Четверо – гибель. Она лучше повесится. Но жалко же, жалко! Боже!

Боже, повторили сухие губы, Боже.

Вот она и обратилась к Тебе, Господи. Слышишь ли?!

Тишина. Никто и ничего не слышит. Сказки священников. Старушки сказки.

Жалкая, вечная человечья надежда.

Перо окунулось в черноту ночи. Перо побежало.

Побежало прочь от нее.

Черная кровь полилась на серый, грязный снег. Это ее расстреляли.

Там: на том конце света: с ее Богом вдвоем.

*За все я судьбе заплатила —
Аннетт, Марианна, Мадлен.
Оставьте мне глотку и силу —
и счастье берите взамен!
Оставьте мне ноги для пляски
и ночи для ласки; и НОЧЬ
ДЛЯ СНА О РОССИИ... для сказки,
которую слушать невмочь...
...а только лишь спеть... не в канкане —
в капкане... в силках – прохрипеть:
на той земляничной поляне,
где больно на Солнце глядеть...*

Глава седьмая

*Вы ляжете, знаю, в седые гробницы,
В золотые, в рубинах, гроба.
Вам неть будут, плакать,
лбом биться, молиться:
Хоронит Царей голытьба.*

*Хоронит... —
а что ж по затертым Парижам,
По кладбищам, день ото дня
Русеющим... – в грязи, зловоньи да жиже —
Не похоронили – меня?!*
Анна Царева. «Я знала их всех...»

В Мулен-Руж – традиционный ночной канкан.

О, это зрелище! Лучше бала любого.

Кто не видал канкан – не видал Парижа!

Девчонки вздергивают ноги выше головы. Цветные юбки развеваются. Они похожи на огромные цветы, а голые ноги в подвязках – на бешеные пестики, безумные тычинки.

Выше! Выше ноги! Тяни носок, Камилла! Подбрасывай, Одиль, колено к подбородку! А ты что спишь на ходу, красотка Мадлен?! Давай, давай, работай! Канкан – это и танец, и работа! Грозный, великий карнавал!

Девки на сцене плясали, а публика в зале лениво потягивала ядовито-зеленый абсент из длинных бокалов и иные аперитивы.

Громадные живые цветы плясали. О, танцорка Одиль села на шпагат! Оркестр вжарил как следует, оглушительно. Веселое искусство, веселая страна!

Где еще так веселятся, как в Париже? Да нигде! Мир Парижу – в подметки не годится!

За столом сидел молодой усатый парень, в германской военной форме. Рядом с ним – еще трое. В мундирах, при погонах. Народ косился: боши! Кое-кто смекал: наци. Опасливо вставал, уходил, чтобы не слышать лающую, собачью речь.

Французы ненавидели немцев и англичан. Хотя улыбались им вежливо. Европа вежлива и галантна. В особенности Франция.

Девчонка в небесно-голубых пышных юбках выше всех задрала голую ногу, на миг мелькнул, под взлетевшими кружевами, черный курчавый треугольник внизу живота. Ба, да она без панталон! Молодой немец с черными кошачьими усиками над нервной, подвижной губой выкатил глаза от восторга, захлопал в ладоши. Крикнул: бис!

– Да тут все на бис, Адольф, – кинул его круглый толстый друг, поглощая устрицы, выковыривая их ногтем из панциря. – Ты разве не видишь, что тут все по кругу? Это же колесо! Красная мельница! Мелет без роздыху!

– Мне нравится, что – красная! – Усатый парень подмигнул живому шару. – Гляди, как на нас народ косится!

– Повязку сними.

Толстяк кивнул на повязку на рукаве Адольфа – с черным четырехногим крестом свастики.

– Зачем? Пусть боятся!

Заложил руки за затылок, потянулся. Выпитый абсент ударил в голову. Нет, хорошо в Париже!

Ближе к рампе плясали канкан две раскосых девчонки. Явно не парижанки. Японки или китайки, черт разберет. Меньше всех ростом, поэтому их вперед и вытолкнули.

Та, что поменьше, – дочь Юкимару. Мариико, злобная мачеха, отдала девочку в ночной клуб: «Ненавижу детей! И – ненавижу его ребенка!» Говорят, развелись они вскоре после того скандала. Журналисты во всех газетах писали. Юкимару нашел девочку спустя год в Мулен-Руж. Хотел взять к себе. По слухам, она отказалась.

Та, что повыше, Изуми. Эта сама в Мулен-Руж пришла. Ее на похоронах надоумили. Шептали: «Будешь хорошее жалованье получать, а школа танца какая!» Кто шептал-то? Рядом с ней девушка такая красивая стояла, все Изуми по черненькой головке гладила, да, Ольга звали ее. Норвежское имя. Или шведское? Девушку под ручку держала смешная старушка. Месье импресарио покойной маман Ифигении сказал на ухо горничной Лизетт: «Лесбиянки». Изуми не знала, что это такое, и рассмеялась сквозь слезы. Уж очень смешно звучало. Маман Ифигения лежала в гробу ужасная, уродливая. Удушенники все такие, сказали ей. Синие, одутловатые, и губы искусаны, и вздутые веки.

Изуми потом молилась богине Амаэтэрасу, чтобы маман ей не снилась.

А когда отец к Кими приходил – так на Изуми посмотрел!

Она покраснела тогда, как вишня. Опустила головку. Такой жгучий взгляд. Выдержать нельзя.

В Мулен-Руж японки танцевали по ночам, но не каждую ночь. Днем спали. Спальни для девочек – в этом же доме, на третьем этаже. Окна закрываются тяжелыми черными шторами. Дежурная по спальне с трудом задергивает шторы. Уж лучше греть уголь для уюта. Танцевальные платья надо гладить хорошо, особенно лифы. Мягкий лиф – тебя лишат ужина. А может, и сладкого.

Изуми и Кими говорили по-японски. Были счастливы этим.

Все уснут в огромной холодной спальне, а они на родном языке шепчутся.

А за окном – Париж, серый, дождливый, холодный. Угрюмый.

Веселая только эта музыка – канкан. Эти ноги – выше лба. Там, тара-тара-пам-пам!

– Когда Париж будет наш, я прикажу поставлять нам к столу всех экзотических девиц. Не правда ли, Херинг?

Адольф все еще потягивался, держал на затылке ладони.

– Твоя правда, фюрер!

Херинг выбросил над столом руку – вверх, от плеча. Будто косою луч ударил в потолок полутемного, пьяного зала.

– Славно японочки танцуют. Очаровашки!

– Запомни, Херинг, – отдельно, чеканя слоги, выговорил Адольф, – любая другая нация, кроме арийской – поганая нация. Повтори!

Крикнул громко и страшно. Толстяк подобрал под стул короткие ножки.

– Любая нация, кроме арийской, дрянь!

Усатый парень усмехнулся.

Двое других его приятелей, коротышка Хеббельс и дылда Химмлер с плотоядным, сладострастным, алым, как у женщины, ртом, потягивали из бокалов арманьяк.

Под утро, натешившись, вывалились из «Красной Мельницы» на набережную Сены. Ветер поднялся. Крутил по асфальту обрывки газет. Пьяно косили глаза. Пьяно раззявлены рты. Свастики на рукавах. Ветер в головах. О да, они молоды!

А молодые – мир завоюют. Попробуй, поспорь!

– Париж будет наш!

– Европа будет наша!

– Тысячелетний рейх! Тысячелетнее царство истинных арийцев! Все народы будут служить нам! Только нам! И эти, французики...

Коротышка Хеббельс плюнул на мостовую.

Дылда Химмлер свистел сквозь зубы: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!»

Адольф толкнул Химмлера кулаком в бок.

– Ах ты! Драться!

– Истинный ариец должен уметь драться даже с другом! Я тебя завалю, бык!

– Это я тебя завалю!

Шутливо, понарошку дрались, возились на пустынной утренней набережной. Солнце выплывало из-за Сены оранжевым, тоскливым шаром. Толстяк Херинг и малютка Хеббельс стояли, созерцали драку. Хохотали. Херинг закурил сигару.

Гасли газовые фонари. Мерцала зеленая, цвета чешуи линия, вода в Сене. Алая дорожка побежала по воде. Солнце взошло.

Остановились, запыхавшись. Раскровянили друг другу лица, скулы. Подбитый глаз Адольфа наливался чернильной синью.

– Ну что, Шикльгруббер, как я тебя?

– Слабак ты. Я возьму реванш!

Химмлер отряхивал грязь с обшлага мундира.

– Не сегодня.

*

В пальцах пожелтевшая фотография. Коричневые разводы; сепия; угольные тени. Потрепанные края фотографии тщательно убраны под паспарту, под стекло, под край изящного багета: черное дерево, нить позолоты.

Пальцы дрожат. Губы дрожат. Старая женщина вот-вот заплачет.

Седые волосы забраны на затылке в пышный пучок. Когда-то смоляными были, вились.

Маленькая и старая, а плечи все еще хороши.

Складывает пальцы в щепоть. Медленно совершает крестное знамение. Сморщенные губы повторяют молитву. Кружево воротника дрожит от дыханья.

Ни болезни, ни печалей, ни воздыхания... но жизнь бесконечная...

Мать жива, а сына убили. Старая мать молится за мертвого сына.

Если молиться за мертвых – мертвые там, на небесах, будут молиться за нас.

Блеск зеркала. Тусклое серебро волос. Погашена люстра. Горит свеча.

В зеркале пламя свечи отражается. Воздух плывет.

Уплывает жизнь, ее большой, горящий огнями корабль. В ночь уплывает.

– Сыночек... Любимый... Родной...

Она шепчет сначала по-русски, потом по-датски. Датчанка Дагмар. Русская вдовствующая Императрица в изгнании Мария Федоровна.

Красиво и в старости красавицы лицо. Любуйся, зеркало. Погаснет отражение – останется свеча. Погаснет свеча – повиснет синий дым.

«Я Императрица, но имя мое забудут, оно сотрется даже с царской могильной плиты».

Сынок, Ники! Санки и зима. Хрусткий снег. Золотые от Солнца сугробы. Ты катаешься на санках с ледяной горы с дочками и малышом Алешиной. Неужели вас всех застрелили, как скот на бойне, проткнули штыками?!

«Не вижу этого. Значит, этого не было».

Ей спокойнее думать так. Не было, не было никогда.

На стекло капает слеза. Марья Федоровна торопливо стирает слезу рукавом. Не плачь, принцесса Дагмар. Скоро увидите: на том свете.

*

Царственная мать плакала над фотографией сына – Анна горбилась над столом. Ночь, время ее работы. Недосыпай, пиши! Коль тебе голос дан – взято иное счастье. Семен лежал на животе, лицом в подушку уткнулся.

Дети спали тихо.

Анна шевелила губами, повторяя слова.

Перо летало по бумаге, рвало бумагу, застывало, летело опять.

*Вижу... вижу...
Силки крепа... кости крыжса...
Витые шнуры... золотые ежи
На плечах... китель режут ножи...
Пули бьют в ордена и кресты...
Это Царь в кителе. Это Ты.
Это Царица – шея лебяжьей.
Это их дочери в рогожке бродяжьей...
Ах, шубка, шубка-горностайка
на избитых плечах...
А что Царевич, от чахотки – не зачах?!
Вижу – жемчуг на шее Али...
розовый... черный... белый...
Вижу – Ника, Ваше Величество, лунь поседелый...
Вижу: Тата... Руся... Леля... Стася... Леша...
Вы все уместитесь, детки,
на одном снежном ложе...
Кровью ковер Царский, бухарский, вышит...
Они горят звездами, на черное небо вышед...
Царь Леше из ольхи срезал дудку...
А война началась —
в огне сгорела Стасина утка...
Изжарилась, такая красивая, вся золотая птица...
Стася все плачет...
а мне рыжая утка все снится...
Ах, Аля, кружева платья метель метут...
А там, на небесах,
вам манной каши лакеи не дадут...
Вам подсолнухи не кинут крестьяне
в румяные лица...
Ты жила – Царицей... и умерла – Царицей...*

«Да, да, вот так, верно. Это будет первый кирпич. Дворец возведу. Им – дворец?! Да, им, расстрелянным, оболганным. Память моя, любовь моя – им. Все забыли о них! Над костями их – пихты, ели черными хвостами метут! Расстрел. Я тоже ходила на расстрел! Да Бог спас. Бог, Ты ли спас меня?! Для чего оставил меня жить?! Для того ли, чтоб я тут, в Париже, лямку тянула, из-за хлеба поденного – пот лила?!»

А я живу – нищей... и помру – опять нищей...

*Ветер в подолах шуб ваших воеет и свищет...
Вы хотите пирогов?!.. – пальчики,
в красном варенье, облизеешь...
С пылу-жару, со взрывов и костров...
грудь навывлет... не дышишь...
Кулебяки с пулями... тесто с железной начинкой...
А Тата так любила возиться с морской свинкой...
Уж она зверька замучила... играла-играла...
Так, играя, за пазухой с ней умирала...
А Руся любила делать кораблики из орехов...
У нее на животе нашли, в крови, под юбкой... прятала для смеху...
Что ж ты, Аля-Царица, за ними не доглядела...
Красивое, как сложенный веер,
было нежное Русино тело...
Заглядывались юнцы-кадеты...
бруснику в фуражках дарили...
Что ж вы, сволочи, жмоты,
по ней молебен не сотворили?!..
Что же не заказали вы, гады, по Русе панихиду —
А была вся золотая, жемчужная с виду...
А Леся все языки знала.
Сто языков Вавилонских, Иерусалимских...
Волчьих, лисьих, окуневских...
ершовских... налимских...
На ста языках балакала, смеясь, с Никой и Алей...
Что ж не вы ей, басурманы,
сапфир-глаза закрывали?!..*

«Да, да, именую их всех – смешно и радостно, детские имена всем выдумала. Ника – Николай Александрыч, простите меня, Государь, да я вас как сына своего назвала! Аля – ну понятно, Александра: как моя дочь! Ника и Аля, Аля и Ника. Вы мертвы, но вы – мои дети! И я, я теперь ваша мать!»

*Там, в лесу, под слоем грязи...
под березкой в чахотке...
Лежат они, гнилые, костяные,
распиленные лодки...
Смоленые долбленки... уродцы и уродки...
Немецкие, ангальт-цербстские,
норвежские селедки...
Красавицы, красавцы!..
каких уже не будет в мире...
Синим вином плещутся в занебесном потире...*

«А детки? Ну да, детки. Ольга – Леличка. Татьяна – Тата, по-питерски: в Москве бы – Танюшей звали. Мария – Маруся, Руся. Анастасия – Стасинька. Алексей – Лешинька. Все просто. Вы – родные!»

А я их так люблю!.. лишь о них гулко охну.

*Лишь по ним слепну. Лишь от них гложу.
Лишь их бормотанье за кофеи-сливками по утрам – повторяю.
Лишь для них живу. Лишь по ним умираю.
И если их, в метельной купели крестимых, завизжу —
Кричу им хриплым шепотом:
ближе, ближе, ближе, ближе,
Еще шаг ко мне, ну, еще шаг,
ну, еще полшагочка —
У вас ведь была еще я,
забытая, брошенная дочка...
Ее расстреляли с вами...
а она воскресла и бродит...
Вас поминает на всех площадях...
при всем честном народе...
И крестится вашим крестом...
и носит ваш жемчуг... и поет ваши песни...
И шепчет сухими губами во тьму: воскресни... воскресни...
воскресни...*

Разлепила губы. Вслух, громко сказала:

– Воскресни!

Семен дрогнул голыми лопатками. Диван противно скрипнул. Муж всегда спал голый до пояса, без рубашки и пижам, в любой холод. Анна помнит, как во Вшенорах не топили на ночь печь – дрова сэкономили. Семен ложился в постель, как прыгал в ледяную купель, в иордань на Богоявление. Анна ложилась рядом, вытягивала ноги, руки складывала на груди – чисто покойница. Семен смеялся, обнимал ее, прижимал к себе, тормошил. Согревал.

Целовал...

– Аннушка, ложитесь. Рано вставать!

– Сейчас, Семушка. Вы спите. Отдыхайте.

Часы в гостиной Чекрыгиных пробили медленно, медно: раз, два, три, четыре. Четыре ночи. Четыре – утра?

Анна встала из-за стола, прямая, сухая. Спина как доска. Живот как жостовский поднос. Плечи тверже вешалки. Над рукописью стоя, перекрестилась на рассветное окно – жестко, медленно. Так восставшие от паралича двигают затекшей рукой.

*

Стадион гудел. Пол-Парижа пришло на состязания бегунов!

Легкая атлетика в моде. При огромных скоплениях народу прошли Олимпийские игры в Амстердаме. Ждут Олимпиады в Америке. Здесь, в Париже, сегодня – чемпионат мира. Прыжки в длину, прыжки в высоту!

Бег захватывает. Бежали четыреста метров мужчины, сейчас побегут женщины, восемьсот!

Гул, жара, дамы обмахиваются газетами. Дети прыгают с трехцветными флажками в руках. Зрителей обносят водой, пирожными. На небе – ни облачка. Жаркое лето в Париже!

Нидерланды, Германия, Англия, Испания, Швеция, Канада, Бразилия, Франция.

Поджарые, стройные лошадки, груди плоские, как у мужчин, а мышцы ног сильные, вздуваются на бедрах. Бразильянка подвязывает шнурок. Шведку сразу отличишь – выше всех, и волосы белые, соломенные, убраны в конский хвост.

За Францию бежит Мари-Жо Патрик. Чернокожая! Нет, мулатка скорее. Она из Алжира, из Касабланки. Тренировалась в пустыне. Слухи ходят – самая быстроногая!

Переступают с ноги на ногу. Подпрыгивают. Смотрят вперед, на беговые дорожки, прищурясь: солнце в глаза бьет.

Трудно бежать будет – жара.

Трибуны скандируют: «Ма-ри-Жо! Ма-ри-Жо!» Все хотят, чтобы мулатка победила.

Да она сама хочет. Ноги, как у кобылы породистой! Вперед, Франция!

Скользит глазами по трибунам. Рассеянно, близоруко. Ничего не видит. Видит лишь красную кровь победы.

В толпе, на трибунах, меж рядов пробирается Игорь. Будто бы к своему месту пробирается. На самом деле билета у него нет: вошел на стадион воровски – перепрыгнул через ограду. Сегодня он не Игорь Конев. Сегодня он – вор, гамен. Зазевается зритель – раз! – руку ему в карман брюк. Задумается дама, поедая мороженое, – раз! – незаметно – утянуть сумочку у нее с шелковых колен. Опасный промысел; зато верный. Верный кусок хлеба, ибо стадион – большой. Большая добыча сегодня ждет! Если не поймают.

Стянув бумажник у жертвы, Игорь извиняется. Игорь вьется около ограбленного выюном, ужом: ах, простите! Ах, экскюзе муа, силь ву пле! Проталкивается дальше, дальше по рядам. Если кто обнаружит пропажу – его ни за что не найдет. Тысячи тут! Муравейник людской! Живая икра в огромной миске амфитеатра. В случае чего он успеет убежать. Он знает, как быстро смыться отсюда. Присмотрел лаз в заборе. Никто не охраняет.

На трибунах, среди зрителей – Жан-Пьер Картуш и Виктор Юмашев. Кутюрье любят спорт? О, не только! Кутюрье наблюдают натуру, не хуже художников. Они здесь с корыстной целью. Ищут новые модели. Им нужны манекенщицы. Бегуны – вот отличный материал.

Возопил судья:

– На ста-а-а-арт!

Бегуны наклонились вперед. Шеи вытянулись. Марево жары обнимало худые фигуры.

Победа, только победа!

Но кто-то один победит.

Раздался выстрел. Ура, без фальстарта! Бегут!

Картуш вцепился в рукав Виктора.

– О, Виктор! Гляди, гляди! Шведка впереди! Тысяча чертей!

Юмашев смеялся.

– Погоди, еще первый круг!

Картуш побледнел, засмеялся ответно. Переживал.

Игорь просачивался сквозь людское месиво. Тек как капля. Полз как змея. Он был нагл и опытен. Не думал, хорошо или плохо то, что он делает. Ему хотелось есть. Сегодня и завтра. И, может, на послезавтра тоже хватит. Один такой поход на стадион – полмесяца беспечной, вольготной жизни в Париже. Счастье, что он один! Сбросил Ольгу, как с ноги тесный сапог. И не жалко? А что жалеть?

В жизни ни о чем не жалею. И никого. Начнешь жалеть – тебя не пожалеют.

– Виктор, гляди, воришка! Ловко кошельки тащит!

Юмашев всмотрелся в колыханье голов и рук. Вытер со лба пот.

– Прелестный малый. Какое лицо. В синема бы сниматься ему.

– Каждому свое.

– Ты прав.

– Мне нравится Мари-Жо!

– Если она победит, она не в восторге будет от твоего предложенья.

– Хм! Посмотрим! Карьера бегуны коротка. А подиум любит даже старушек. Полюбуйся на нашу Додо! Ей же черт знает сколько лет!

– Да, Додо. Женщина-песня. Однажды я видел, как на веранде кафэ «Греко» она обедала с толстухой Кудрун Стэнли и с этим парнем, американцем, Хиллом. Ты бы сказал: это ново-брачная.

– Викто-о-о-ор! – Жан-Пьер впился ему в руку, как рак клешней. – Гляди-и-и-и! Мари-Жо обошла бразильянку и немку!

– Какую немку? Какой номер?

– Седьмой! Немка номер седьмой! Газеты писали – немку никто не сможет обойти! Не бежит – летит! Валькирия!

– Почему Вагнера не играют на стадионе?

– Сейчас заиграют! Из «Парсифаля»!

– Шведка впереди. Хильда Густавссон.

– Чертовы эти их имена! Язык сломаешь!

Белобрысая шведка как взяла первой старт, так впереди и бежала. Не сдавала позиций. За ее спиной вырывались вперед то бразильянка с иссиня-черными кудрями, летящими по ветру черным флагом, то крепкая широкоплечая немка с длинными конскими ногами, то тощая как щепка канадка. Мари-Жо отставала, опять догоняла лидеров. Картуш кусал губы.

– Мы не должны проиграть!

– Мы, мы. Почему люди так любят спорт? Потому что победу делает не армия, а – один человек. И ты думаешь: я мог бы быть им!

Около гаревой дорожки стоял человек с громоздкой кинокамерой. Он снимал для синема соревнования. Камера стрекотала, оператор то и дело смахивал пот со лба платком величиной с географическую карту. Заталкивал платок в карман необъятных штанин. Наводил объектив на бегуний.

– Виктор! – Картуш подпрыгнул на скамье. – Она вырывается! Она... вырвалась! Вот она-а-а-а!

Завопил, не сдержав радости. Замахал руками над головой.

И весь стадион, как по команде, встал и закричал: «Мари-Жо-о-о-о! Мари-Жо-о-о-о!»

– Господи, – прошептал Юмашев по-русски, – прости Господи, желтый дом.

Улыбался. Краем глаза следил за увертливым французским воришкой. Ага, обчистил еще одного, потного толстячка в широкополой, вроде как мексиканской, соломенной шляпе. Уноси ноги, парень, покуда цел! Неровен час, поднимут переполох, тогда конец тебе!

Мулатка легко, будто выжидала этот миг, высоко взбрасывая ноги, обогнала воблуканадку, густогривую бразильянку и немку-мужланку под номером «7» – и теперь бежала впереди. Так легко и красиво бежала – из всех грудей вырвался стон изумленья.

Бежала – будто танцевала!

О да, это танец. Бег – танец. Бег – счастье.

«Она танцует с Богом вдвоем танец победы». Жан-Пьер смеялся в голос, будто рыдал. Юмашев косился на друга, как на сумасшедшего.

До финиша совсем немного. Метров двести. Или уже сто! Немка наддала. Колени в воздухе замелькали. Поднажала и бразильянка. Немка почти настигла Мари-Жо – та оглянулась, почуяла угрозу, расширила шаг. Она опять впереди!

Стадион бесился. Все прыгали и махали руками и флагами. Молодежь свистела в свистки. Оператор бесстрастно снимал происходящее.

До финиша меньше ста метров. Немка впереди! На полкорпуса! Мулатка опять легко обходит ее, будто дразня. Бразильянка делает невероятное усилие и вырывается вперед!

Стадион взревел. Вопль отчаянья.

Тридцать метров до финиша!

Мари-Жо летит стрелой. Нет, это пуля, черная кудрявая пуля. Живая пуля летит, обгоняя всех, опережая время. Она опередила самое себя. Бразильянка превзошла себя, да! Но черная пуля обогнала и ее.

Финиш!

– Мари-Жо-о-о-о-о! Вив ля Фра-а-а-анс!

Стадион захлебнулся в криках восторга.

Обнимались, целовались. Прыгали и скакали! Мари-Жо пробежала, разогнавшись, еще с десятков метров после финиша – и, подняв вверх черные руки, повалилась животом на дорожку, принеся ей победу. Поцеловала ее.

Игорь, крепко прижимая за пазухой к ребрам украденные кошельки, тоже глядел на лежащую без сил Мари-Жо. «Как бы не умерла девка на радостях».

– Видишь, Жан-Пьер! Все вышло по-твоему! А ты волновался!

Закурил. Дорогая сигарета обжигала угол рта. Картуш хохотал довольно.

– Ну что, наша модель?

– Наша!

– Гляди, встала! Бежит! Очухалась!

Мари-Жо Патрик бежала круг почета по стадиону с флагом Франции в черной руке. Картуш аплодировал стоя.

Камера стрекотала.

На невесть каком ряду, наверху амфитеатра, черноволосая смуглянка в вызывающе ярком наряде – алый лиф, зеленая юбка, ягодно-красная шляпка с черной вуалью – встала со скамьи, чтобы рассмотреть человека в толпе. Щурилась. Шею тянула. Губы кусала. Узнала его.

Повернулась к спутницам, живо щебечущим девицам.

– Девочки, – весело, холодно бросила. – Не ждите меня! Пока!

Пробиралась сквозь бешено орущую, гудящую как улей толпу.

Неистово плясал и кричал стадион. Мари-Жо пробежала круг победы, знамя Франции выхватили у нее из рук. Фрина Родригес работала корпусом и локтями. Скорее. Он уйдет. Она еще видит его. Вот он!

– Эй! – крикнула, когда голова Игоря, его когда-то роскошный, теперь потрепанный, мятый, будто жеванный пиджак уже близко виднелись.

Она не знала его имени.

Не помнила, как в поезде называла его эта... эта...

«Ну обернись!» – заклинала.

Он обернулся.

*

Кутюрье подошли к золотой мулатке; им не пришлось расталкивать репортеров, судей, восторженную публику – их узнали, все расступались перед ними. Картуш произнес лишь два слова. Потное смуглое лицо озарилось счастливой улыбкой. Улыбка сказала: «Согласна!» А вслух бегунья произнесла: «О, очень интересно, я подумаю».

Картуш и Юмашев вынули визитки. Девушка стояла перед ними в спортивной майке, в коротких шортах, мокрая после отчаянного бега. Мокрые жесткие черные кудри вились, крутились в тугие пружины. Юмашев не сводил глаз с сильных красивых ног. Краска проступила на кофейно-смуглых щеках.

«Это ваш шаг вперед, ваша карьера», – важно сказал Картуш. Их вежливо оттеснил президент Спортивной лиги Франции: сейчас церемония награждения, позвольте!

Немка стояла в сторонке, кусала бледные губы. Она пришла третьей. Серебряная призерка, бразильянка, завязывала ночь волос в тяжелый узел. «Я уже придумал, какую коллекцию сделаю на нее, на Мари-Жо, – сказал Юмашев Картушу, когда они вышли из стадиона на горячий ветер площади. – Ночной Каир. Ночи Египта».

«А что, это мысль! Восток, это превосходно! Сделаем на троих грандиозное дефиле. Пирамиды! Индия! Мексика! Япония!»

«Ты Азию забыл. Тибет. Гималаи».

«Да, пожалуй. Как назовем?»

«Восток есть Восток. Помнишь Киплинга? Но Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись».

Юмашев покусал губы. Понюхал пахнувшие табаком пальцы. «Сумасшедшее дефиле. Такого не было в Париже еще никогда. И нигде в мире. Ночи Каира! Водопады Японии! Индийская жемчужина! Колдуньи Марокко! Колокола Тибета!»

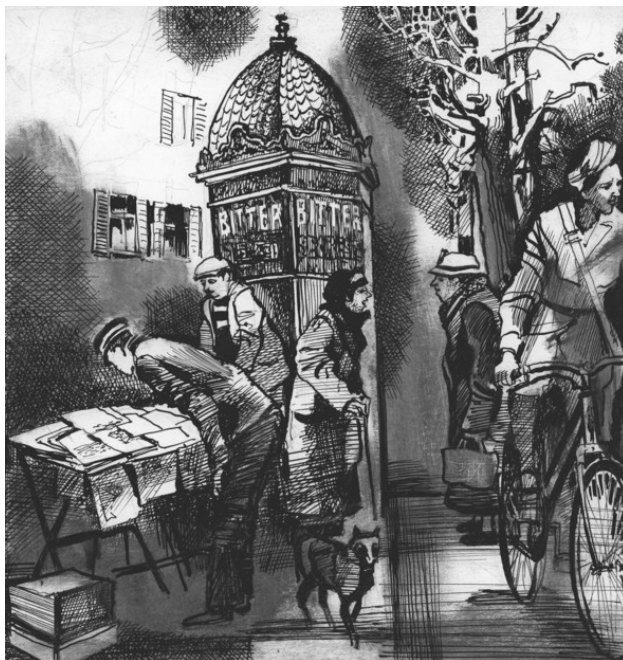
Картуш рассмеялся, хлопнул Виктора по плечу. «Теперь ты забыл. Мексика. Ты ж про Мексику сболтнул. Эта земля сейчас в моде. Гляди, как у нас в Париже разворачивается этот пройдоха из Мехико, этот социалист!» Кто, непонимающе глянул Юмашев. «Доминго Родригес! Пузан! А сколько мощи в пузатом бочонке! Самого Микеланджело обскакал! Вроде как сейчас Мари-Жо – всех обставил! Росписями своими весь мир разукрасил! Слыхал, сейчас он во дворце Матиньон работает? У-у-у! Представляю, что он там наворочает! Троцкий, пирамиды майя и канкан в Мулен-Руж в одном котле! Слушай, а в Мексике – танго танцуют?»

Юмашев застыл на тротуаре, как вкопанный. Авто шуршали, проносясь мимо. В глазах русского плясали солнечные бесенята.

«Танго, говоришь? О да, танго!»

Он придумал. Он сделает танго-дефиле. Платья в виде пирамид. Конские хвосты на затылках. Куколки будут выходить на подиум босиком. Танго – босиком танцевать! Мужчина с женщиной. Женщина с женщиной. Мужчина с мужчиной. Кукла с куклой. Это будет скандал! А музыка? Кому заказать музыку такого, невероятного кукольного танго? Была бы идея, композитор найдется. Счастье, он богат, чтобы заплатить за хорошее искусство!

Колдуны Марокко



Глава восьмая

*Я шарманище суну в ладонь – на стопарь: на, старуха, согрейся
в мороз.*

*А в Париже – декабрь, а в Париже – январь, и лицо все опухло
от слез.*

Жри капитан, эмигрантка!..

Не выйдет Ла Моль

целовать твой немый подол.

Я летучая мышь или черная моль?

И сабо мои стоят – обол.

*И подбит ветерком мой изодранный плащ с соболиным – у горла –
кружком.*

Чашку кофе, гарсон!..

Я замерзла, хоть плачь.

Я застыла забытым снежком.

Анна Царева. «Я себе затвердила...»

Шевардин репетировал ночью в пустом зале.

Вот где всласть попел. Погремел свободным, широким, вольным голосом.

«Да, я гром. Я – громоподобен. Но кто здесь услышит меня?!»

Странные прозрачные фигуры явились далеко, над последним рядом партера. Парили в темном красном воздухе зала. Горела лишь рампа. Шевардин видел – призраки ближе, ближе. Уже можно рассмотреть петлицы на белом кителе мужчины. Длинную вуаль, летящую вбок со шляпы женщины. Дети, вот они дети, он видит их лица. Лица прозрачны. Руки невесомы. Вся жизнь невесома и воздушна. Она – птица, и ее – подстрелили.

Цари мои, – глухим басом промолвил Шевардин.

«Я с ума схожу. Не иначе».

Царь, Царица, четыре Великих Княжны и Цесаревич медленно, медленно подлетели к сцене. Вились над Шевардиным ангелами. Он, замерев, дыханье затаив, следил сумасшедший полет.

«Надо молиться. Не могу, Господи!»

– Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его... и да бежат от лица Его ненавидящие Его...
яко исчезает дым, да исчезнут... яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси...

Убитые Цари летали над дрожащим на пустой сцене певцом.

Ему казалось: лысеющей головы его и деревянных от ужаса плеч касаются легкие, чистые крылья.

*

Фрина протиснулась к нему. Она все-таки догнала его. Уже держала его за руку.

«Dios, как я хочу его! Он смотрит на меня, как на безумную».

Игорь глядел на мексиканку, прищурив густые ресницы, и думал: «Вывалются из-за пазухи кошельки. Надо переложить в карманы».

Ослепительно улыбнулся красивой смуглой даме.

– Простите, я...

Она не дала ему договорить; шагнула вперед и положила руку ему на губы.

Он схватил руку, еще крепче к губам прижал. Получалось так – целовал.

– Вы знаете, кто я?

Игорь обнимал ее глазами. Не надо тратить слов. Слова хороши тогда, когда нет чувства.

– Мне наплевать, кто вы.

– Говори мне «ты».

– Хорошо. Ты.

– Ты!

Он видел – она упивалась этим «ты». Какой павлиний, петушиный наряд! В Париже так не одеваются. В Буэнос-Айресе тоже. У нее плохой французский. У него тоже. Они близнецы. Брат с сестрой – оба смуглые, оба южане. В него навек вьелся аргентинский загар. Венесуэлка? Испанка? Мексиканка? Быть может.

Стадион ревел и кипел вокруг них.

– Уйдем отсюда.

– Куда?

– Куда хочешь. Я тебя поведу.

– Веди. Согласен.

С ужасом, весело, подумал: «Я согласен на все, такая ты красивая».

Взял ее крепко, крепко за руку.

Прижавшись друг к другу, они вышли из победно ревущего стадиона на широкую площадь.

– Ты помнишь поезд?

– Да, помню.

Засмеялся.

– Чему смеешься?

– Вспомнил, как ты вынимала мешок с едой, запускала туда руку и доставала оттуда апельсин. И еще длинный такой плод. Желтая мякоть, розовая. Он очень хорошо пах, ароматно. Ты резала его на кусочки ножом. И так красиво ела. Я любовался тобой.

– А, это папайя. Люблю папайю.

– Да, папайя. Я ее вспомнил. Я ее тоже ел.

– Здесь? В Париже?

– В Буэнос-Айресе.

– Ты аргентинец?

Она радостно перешла на испанский. Он покачал головой.

– Нет. Русский, – ответил по-испански.

– Русский? О!

Слова кончились. Глядела на него, как на диво. «Явление русского бога испанской девочке». Он обнял ее за плечо, и его ладонь запылала – такой горячей была ее кожа сквозь красный рукав.

– Ничего не спрашивай. Просто идем, и все.

– Да. Просто идем. Я полюбила Париж. Он красивый... изящный. Прозрачный, как флакон с хорошими духами. И так же хорошо пахнет.

Смеркалось. От стадиона до острова Ситэ они шли пешком, и ноги не натрудили.

Забыли время и день, перепутали утро и ночь. Забыли себя. Париж обнимал их, качал в колыбели ладоней. Подошли к парапету. Сена тихо светилась. На другом берегу парапет весь был увит темно-зеленым, траурным плющом. И часть стены Нотр-Дам – тоже. Плющ затягивает забвеньем камень. Закрывает от глаз вечность. Слабое растенье, а дай ему волю – камень источит и пожрет, прорастет сквозь вековые кирпичи и плиты.

Фрина встала у парапета, глядела на воду.

– Река. Здесь река. Мехико сухопутный город. Там одни горы вокруг.

– Ты живешь в Мехико?

- Я живу везде.
- Кто был с тобой в вагоне? Этот пузан? Твой муж? Любовник?
- Пусть тебя это не волнует.

Замолчал. Нотр-Дам нависал мрачной громадой. Лиловые сумерки набрасывали на Париж, как на клетку с канарейкой, темный платок.

- Зайдем в собор?
- Зачем? Ты хочешь помолиться? Я не хочу.
- Хочу поставить свечу.

Перешли Сену по узкому, тонкому мосту. Средневековый мост, кружевной. Сейчас подломится под ногами, они оба рухнут в реку.

Зашли в огромный, грозный, как рыцарь в каменных латах, скорбный собор. Игорь задрал голову: ну и высота! Он за все это время еще ни разу не был в Нотр-Дам. Древность, смертью пахнуло. «В наших, московских церквах, в православных, не так. Там – солнце, и весело, и золото окладов горит, и византийская эта роскошь паникадил, и всюду, всюду – Спаса глаза, этот теплый, родной до боли Христос. Христос – воистину Отец. И Мать с Ним: горит глазами в пол-лица со всех образов! Где тут – Отец? Где – любовь?»

Фрина подошла к ящику, где сложены белые, толстые, длинные свечи. Выбрала две. Порылась в кармане, опустила франки в дырку сердечком, прорезанную для пожертвований на храм в деревянном черном цилиндре.

Протянула свечу Игорю.

Взял. Подошли к горящим кучно свечам. Затеплили от чужого огня. Теперь в руках у них свечи пылали. Белый воск плавился в пальцах. Фрина задрала голову, глядела на Игоря. Он глядел в ее смуглое, с мелкими, как у обезьянки, чертами, лицо.

Красивая обезьянка. Залетная мексиканка. Гостья в Париже. И уедет отсюда, может, завтра.

«Мы все гости на этой земле».

Белый огонь лизал подбородок Фрины. Она тихо вскрикнула. Поставила горящую свечу в железный подсвечник, похожий на кукольную миску.

Игорь держал свечу. Глядел на огонь.

- Почему не ставишь?
- Хочу к Богородице поставить, – медленно по-русски сказал.
- Что, что?!
- К Божией Матери, – повторил по-испански.

Нашли не икону – картину. На холсте – сюжет Рождества: Мария лежит на родильном ложе, плотная ткань рубахи свешивается до полу, скомканы простыни. Девицы в тазах несут воду для омовенья. Крепкая женщина, по виду крестьянка, с толстой как бревно шеей, с пылыми белыми руками, ставит в изножье кровати медный таз, полный голубой, серебряной воды. На руках у молоденькой девчонки – рожденный Младенец. Краснокожий, мокрый, орущий. Скрючены ручки и ножки. Нежный свет над затылком. Свет говорит людям о том, что Он – Бог. А люди не верят, не знают. Бабы просто роды у другой бабы принимают; и все.

Почему тут не иконы – живопись? А, да все равно.

Протянул свечу, укрепил на подставке. Горела белая свеча. Освещала снизу Мариины роды.

За спиной Игоря, на скамье черного дерева, сидела женщина. Берет спущен на ухо. Косилась на странных: прихожанин перед картиной свечу ставит, дама одета как попугай, ярче не придумать: красная роза в изумрудном саду. Проститутка, должно быть.

Прихожанка в берете мрачно следила, как горит, догорает белая свеча.

Те двое повернулись, ушли.

Дама в берете не разглядела в полумраке их лиц.

*

Вцепиться тощими пальцами в спину скамьи впереди. Хорошо, у католиков в церкви сидят. Ноги не устают. А у нас?! У нас – стой Литургию Василья Великого четыре часа, стой Всенощное бдение – пять часов, стой монастырскую Пасхальную службу – все семь часов, а то и больше. Затекут ноги, болят. А ты стой все равно. Пока не упадешь, во славу Божью.

О чем мысли? Обо всем. Аля плачет: мама, возьмем девочек к нам, тех, сирот Дурбинских! Мадам Козельская тоже просит! Говорит – девочки они маленькие еще, им дом нужен! Семья! А разве у нее есть семья?

Господи, скажи: есть у меня семья? Или уже – нет?

Семен. Я разлюбила тебя. Как я разлюбила тебя? Когда? Не заметила. Еще в России? О да, еще в России. После поцелуев старика Волконского приходила в дом в Борисоглебском, в одинокий дом. Семен – далеко. В Европе, ей говорили. А у нее перед глазами моталось: Семен лежит в луже крови, в грязи, на Перекопе. Или – под Киевом. Порублен саблями Петлюры. Или – прострелен красными пулями на Дону. А может, он в Сибирь подался, в Азиатскую дивизию Унгерна? И хакасская банда Аркашки Голикова срубила его под корень, как бешеный, бедный подсолнух?

Видишь, он выжил. Воскрес. Чудес не бывает? Еще как бывают.

Се-мен. Се-мья. Он хороший семьянин; а ты плохая девочка. Скольких любила!

Угнать прочь, загнать внутрь себя стихи. Хоть бы не здесь. Хоть бы не в Нотр-Дам.

*Чужие, большие и белые свечи,
Чужая соборная тьма.
...Какие вы белые, будто бы плечи
Красавиц, сошедших с ума.*

*Вы бьете в лицо мне. Под дых. В подбородок.
Клеймите вы щеки и лоб
Сезонки, поденки из сонма уродок,
Что выродил русский сугроб.*

Переплела пальцы, стиснула руки. Глядеть прямо перед собой! Во мрак! Во тьму чужого, ледяного собора!

«Глупая девочка, здесь Наполеон молился. Сюда Виктор Гюго приходил, и химеры слетали ему на бархатные плечи. Здесь плакал Шопен, оттого, что эта толстая дура Жорж Санд не любила его. И ты теперь здесь сидишь. Радуйся!»

Богородице, Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою...

Стихи, проклятье. Стихи, крест. Кто были эти двое, что ушли? Тетка – пошлячка. Наверняка подцепил ее под красным фонарем. Он молодой, плечи широкие, сильный. Грузчик, может. Тут пристань голландских барок недалеко. Приплывают из Амстердама, из Гааги, привозят вату, бязь, уголь, бочки с рыбой. Грузчики всегда нужны.

Зачем думаешь о них. Думай о другом. Не думай совсем. Пусть голова побудет пьяной, пустой. А может, и вправду напиться? На что? Деньги где взять?

Опять она без работы.

Завтра пойдет объявленья читать на рю Дарю. Кому-то сгодятся ее сильные, жилистые руки. Грязная тряпка, ведро воды ледяной. Щетка. Чистота. Смерть завтра еще.

Царю Артаксерксу я не повинилась.

*Давиду-царю – не сдалась.
И царь Соломон, чьей женою блазнилось
Мне стать, – не втоптал меня в грязь.*

*Меня не убили с детьми бедной Риццы.
И то не меня, не меня
Волок Самарянин от Волги до Ниццы,
В рот тыча горбушку огня.*

«Не меня?! Как раз меня! Себя утешаю. Зачем себе вру?!»

Ника вырос. Как вырос! Соображает все лучше взрослых. Аля идет на танцевальные уроки – насмешливо бросает сестре вослед, ядовито: «Что, дрыгать ножками побежала?» Книжки про Французскую революцию читает – девочки Чекрыгины ему дают, пальчиком грозят: странички не гни! Маслом не пачкай! Если б у них еще было масло к столу.

Спасибо, Семен деньги приносит. Хватает, чтобы – выжить.

И так всегда. Париж, ты такой красивый, шельмец! Она не видит твою красоту. Андруевич, редактор «Русского Журнала», насмешливо бросил ей как-то раз: «Анна Ивановна, а не сделать ли вам выступленье? Помнится, в Москве вы недурственно со сцены читывали!». Да ведь зал снять – стоит денег! Да ведь пригласительные билеты напечатать – тоже деньги плати! Разве сама напишет, от руки...

По старой орфографии...

«АННА ЦАРЕВА. ВЕЧЕРЪ ПОЭЗИИ В ЗАЛЕ РУССКАГО ЦЕНТРА НА РЮ БУАССОНЬЕРЪ. ВХОДЪ – ТРИДЦАТЬ ФРАНКОВЪ».

Нет, тридцать – дорого. Двадцать надо просить. А может, десять? Нищие ведь придут. Наши, русские; несчастные.

Не отказалась от ятей и твердых знаков. От фиты и ижицы. От России – не отказалась. Даром что нет ее на карте. Нет – нигде. А есть эти дикие, странные, одинокие буквы, буквы огненные на позорной стене лукавого пира: Эс, Эс, Эс, Эр.

*Расстрельная ночь не ночнее родильных;
Зачатье – в Зачатьевском; смерть —
У Фрола и Лавра. Парижсей могильных
Уймись, краснотелая медь.*

*Католики в лбы двоеперстие втыкают.
Чесночный храпит гугенот.
Мне птицы по четкам снегов нагадают,
Когда мое счастье пройдет.*

*По четкам горчайших березовых почек,
По четкам собачьих когтей...
О свечи! Из чрева не выпущу дочек,
И зрю в облаках сыновей.*

Боже, она сидит в Нотр-Дам – и стихи новые в уме пишет; и про себя читает; и запоминает. Да ведь не запомнишь, старая швабра! Записать бы надо.

Третьего бы ребенка родить! Да нет, ушло времячко, утекло. Да и от кого рожать?

От мужа лишь. Без греха.

А смогла бы – не от мужа?

«Боже, за что?! Освободи голову мою. Возьми хоть на миг ужас быть, жить. Пришла сюда отдохнуть, просто вздохнуть глубоко. Посидеть в тишине. Зачем думаю о любви? Скольких январей я – гора?! И счесть страшно! А – туда же! Соблазн, да, жизнь – всегда соблазн. Охота тепла, жара, чужого дыханья; близости чужой – охота. А ведь это – обман. Человек уходит – и нету любви. Человек умирает – и нет человека! Что останется после нее? Александра? Николай? Стихи?»

Холодным потом покрываясь, опять и опять содрогалась: зачем назвала детей именами Царей расстрелянных?

Николай Гордон. Александра Гордон. Для Европы сойдет. Фамилья то ли английская, то ли американская. Да еврейская фамилия, куда деваться. А ведь могли бы ее фамилию носить. И – Царевы бы были. И не раз вслед им бросят: жидовня! И услышат они. Баба, старое брюхо твое! Уж не выносишь; не родишь. Рожай стихи, это ты еще можешь.

Встала. Спину распрямила. Белые свечи горели, трещали. Кюре прошел, шаркая подошвами по плитам. Пустой собор. Она – и кюре. И орган в вышине, во мраке.

*Вы белые, жирные, сладкие свечи,
Вы медом и салом, смолой,
Вы солодом, сливками, солью – далеке —
От Сахарно-Снежной, Святой,
Великой земли, где великие звезды —
Мальками в полярной бадье.
О свечи, пылайте, как граф Калиостро,
Прожегший до дна бытие.*

*Прожгите живот мой в порезах и шрамах,
Омойте сполохами грудь.
Стою в Нотр-Дам. Я бродяжка, не дама.
На жемчуга связку – взглянуть
На светлой картине – поверх моей бедной,
Шальной и седой головы:
Родильное ложе, таз яркий и медный,
Кувшин, полотенце, волхвы
На корточках, на четвереньках смеются,
Суют в пеленах червячку —
Златые орехи, серебряные блюда,
Из рюмочек пьют коньячку...*

Растолкала коленями тьму. Пробила мрак животом. Выбралась из черного леса скамей – под своды, на простор. Догорали свечи. Догорала жизнь.

О нет! Нет! Еще не догорела! Живу! Жить хочу!

*И низка жемчужная, снежная низка —
На шее родильницы – хлесь
Меня по зрачкам! Лупоглазая киска,
Все счастье – ныне и здесь!
Все счастье – ныне, вовеки и присно,
В трещанье лучинок Нотр-Дам...*

Каблуки – цок-цок – по широким каменным льдинам. Переходит реку времени по льдинам. Переходит – ледоход.

Однажды в Москве, в апреле, Але – с моста – ледоход показывала: гляди, Аличка, льдины плывут! К морю! Шумят! Друг на друга громоздятся! Торосами встают! Вода – свободна! Синь неба отражалась в Москва-реке. Золотой шлем Ивана Великого источал сладкий, любовный звон, ширью света и солнца звон расходился по весеннему воздуху. Круги радости, праздник. Пасха – Воскресенье!

И любовь воскресает из гроба; из пепла.

*Дай счастья мне, дай в угасающей жизни —
И я Тебе душу отдам.*

Потянула обеими руками тяжелую дверь на себя. Вышла вон из храма.

*

Анна и Семен спорили. Охрипли. Еще немного – и оглохнут. От гнева; от непониманья.
– Ну что, что мы оставили за плечами?! Убитые деревни?! Голод?! Бараки в тайге?! Да вас бы первого в том бараке...

– Мы не крестьяне! Нас не раскулачишь!

– Мы! Мы еще хуже. Удобная мишень!

Она никогда не говорила Семену, что ее водили на расстрел. Зачем мужа расстраивать.

– Там будущее! Аня! Поймите!

– Какое будущее?! Пуля в грудь?!

– Да что вы со своими пулями! Вон фотографии мой генерал привез. Столовая в колхозе! Столы белыми скатертями накрыты! Тарелки – полные!

– А что – в тарелках?

Анна встала перед Семеном. Он поднялся со стула. Они были ростом вровень. Малорослый. Всегда презирал себя.

Поразился простоте ее вопроса.

– Что? Ну... еда...

– Еда! – Анна великолепно, с царственной насмешкой, пожала плечами. – Если бы! А может – пойло? Для скота?

Семен замолчал. Анна осторожно тронула его за рукав штопаной рубахи.

– Семушка, – неожиданно ласково. – Там – загонщик, и там скот. Скотный там двор, понимаете?

Снова взбесился. Стряхнул ее руку.

– А вы – понимаете?!

Анна тяжело, старухой, подобрела к окну. Они были в чердачной комнатенке одни. Аля у мадам Козельской, девочки Чекрыгины в школе, с Никой гуляет Лидия. Одни, в кои-то веки! И – ссорятся. Идиоты!

– Сема, там убийцы. Страна убийц. – Обернулась к нему. Семен отшатнулся от ее взгляда. – Меня там убивали.

– Тебя!

Ринулся к ней, схватил за плечи. Анна отвернула лицо.

– Никогда тебе не говорила. Не хотела.

Боялась в лицо ему посмотреть.

*

Вечером Ника, поедая кашу, выкрикнул:

– Мама, почему вы все пишете, пишете? Вы напишите один раз, и все! И больше не пишете! У вас не получается?

Анна отложила перо осторожно, чтобы не заляпать чернилами лист.

– Сынок, все получается. Я хочу найти единственное слово. Вот найду – и закончу писать.

– Навсегда?

Ее лицо побелело.

– Мама, мама! – Размахивал ложкой. Каша летела на пол, на салфетку. – Поедьте в Россию!

Анна заставила себя улыбнуться.

– Нет. В Россию мы не поедим. Там плохо.

– Папа мне другое рассказывал! Что там – страна побед!

Анна стиснула руки.

– Сынок! Там – даже елку нельзя наряжать! Запрещено! Ты же любишь елку? Любишь?!

Она уже кричала. Аля скорчилась в уголке на табурете, делала уроки, тетрадь на коленях. Испуганно вскинулась.

– Мама, мама!

– Там ничего нельзя! Верить в Бога нельзя! – иступленно кричала Анна.

Ника облизал ложку. «И криков не боится, невозмутимый какой ребенок... Бог Один. Наполеон!»

– Я все равно уеду!

«Все равно» смешно произнес, как: «Сирано».

Ночью Анна крепко обнимала Семена. Диван проваливался под их тощими телами. Пружины впивались в ребра. Дети спали – или делали вид, что спят? Семен осторожно повернулся, обнял Анну за плечи. «Любовь – это танго в постели». Она улыбалась и во время поцелуя.

Когда смотрела внизу вверх, в темноте, на закинутое лицо мужа, вместо его лица внезапно увидала – чужое: того прощельги, картежника, шулера.

*

Париж – город свободы. Весь мир в тюрьме – а мы свободны.

Фрина и Игорь шли по темным улицам. Весенний ветер их нес, будто они не люди, а бумажные змеи. Хохотали. Остановившись, освещенные яркими витринами фешенебельных магазинов, окнами ночных ресторанов. Игорь смело целовал мексиканку: в Париже разрешено целоваться на улице. Попробовал бы в Москве – с горничной, с гимназисткой! Да никогда. Городовой бы засвистел. Теперь уж нет городских. Там – как это – ми-ли-ци-я.

Поворот – перед ними набережная. Опять Сена. Уходят от реки и вновь к ней приходят. Широкий мост, и весь в огнях! Что это?! Танцуют! Среди огней, свечей, стоящих прямо на мостовой!

У Фрины загорелись глаза, как у кошки.

– Игорь, гляди. Танцы!

– Это Pont des Arts. Потанцуем?

Закинула руку ему за шею.

Быстрые, неожиданные па, только успевай поворачиваться! Опытный тангеро, он понял – Фрина танцует с ним милонгу. Сначала она повела, она повелевала. Он быстро взял верх. У перил моста сидели два музыканта – аккордеонист и гитарист. Звуки далеко разносились над водой в ночи. Горели фонари. Пылал рассыпанный по тротуарам, по камням живой свет. Хорошо, у дам, по нынешней моде, юбки короткие, не подпалят.

Фрина танцевала и бесстыдно, и утонченно. Ее лицо разгорелось. Он снял пиджак, кинул на камни.

– Сальсу давай! Знаешь?

Гитарист заиграл сальсу. Игорь закинул руки за спину, выгнул грудь, стал похож на петуха. Они переступали ногами весело, забавно, еще немного – и чечетка.

– Жарко. Я устал.

Расстегнул пуговку жилета.

Фрина сама расстегнула остальные пуговицы, грубо стянула с него жилет и бросила на перила моста. Расстегнула рубаху. Поцеловала его в жесткую, как кочерга, ключицу.

– Танго хочу!

Как по шучьему веленью, музыканты заиграли танго. Фрина томно попятилась от Игоря, колесом покатила в его сильных руках. Ногою обняла его ногу.

– Как хорошо ты делаешь болео, – промурлыкал в маленькое, твердое коричневое ухо.

Танцевал с ней – и вспоминал. Погонщиков мулов. Пастухов в овечьих пончо. Дикий холод в горах. Терпкий чай матэ – выпил сдуру всю чашку и потом не спал двое суток. Драки на ножах в порту. Боже, Господи сил, это была его жизнь!

Глаза чужестранки рядом. Ни о чем не вспоминает. Не думает. Отдается танцу. Она сама – танец. Как прут, выгибается спина!

Присела на колено. Махнула назад ногой – в проем меж его расставленных ног. Чуть обернула голову. Хитрый взгляд, лисий. Как давно у него не было женщины!

В танце нашел, схватил на миг губами ее губы.

Об Ольге даже и не подумал ни разу.

Они танцевали на Pont des Arts до трех часов ночи. Когда стало светать – усталые, счастливые, залитые потом, сбежали по каменным ступеням к воде. Черной, масляной, в цветных разводах и струях фонарного света. Уплыть бы! Куда? Париж, вот город счастья. Для бродяг и бездомных. Для благородных и богатых. Для всех.

Сели на камень. Игорь снял башмаки и носки. Опустил голые ноги в текучую воду.

– Хорошо тебе? – Фрина гортанно засмеялась. «Кошка, ну дикая кошка».

– Чудесно. Ты отлично танцуешь.

– Танец, это как любовь.

– Только быстро заканчивается.

– Любовь кончается тоже.

Он крепко обнял ее за потные, жаркие плечи. На мосту еще танцевали последние пары: без музыкантов, молча, и огни догорали.

– Расскажи мне про свою Россию, – попросила. Прозвучало тихо и жалобно.

Вместо рассказа он медленно, придерживая ее под спину, как хрустальную, положил ее на остывающие камни. Под разноцветьем диких юбок – живот, округлый, горячий. Он погладил живот ладонью. Такой грубой, наждачной – в сравнении с тонкой, нежнейшей кожей. Она тихо, довольно засмеялась.

– Только молчи... ничего не говори.

В молчаньи соединяются тела. Сплетаются руки и ноги. А души?

Голое тело Фрины торчало из лепестков разбросанных по камням юбок, текло, извивалось смуглой змеей. Змеино, властно обвивала его собою. Танго, да, танго. Опять танго, опять оно. Кажется, она счастлива.

Он сдерживался изо всех сил. Ему показалось – он стал рыбой и плывет в беспросветной тьме реки. Ноздри раздулись, он вдохнул запах матэ. Мочка ее уха подсунулась ему под губы, как долька забытого, кислого лайма.

Рассвет обнимал их обоих, когда они подошли к собору. Опять Нотр-Дам, никуда от него не уйти. Перед собором стоял старик шарманщик, вислые редкие, белые волосы, старательно крутил ручку шарманки. Хрип и сип вместо музыки. И это тоже музыка.

Фрина вывалила в шапку старику все деньги. Добыла из карманов своих пышных цветочных юбок. Игорь усмехнулся.

– А на что мы будем жить?

Обернулась быстрее ветра.

– А разве мы будем жить?

Расстались. Без адреса. Без встречи обещанной. Насовсем.

Не обнялись напоследок – пожали руки друг другу, как на дипломатическом приеме.

И правда, куда бы он позвал жену богатого? В нищету? Будет гибнуть сам.

Нет! Не гибнуть! Карабкаться наверх!

Не успел рассказать ей ужас своей России. И светлое чудо ее – нимбом солнечной, медовой иконы – перед всем миром. Война ли, мир – горит икона!

«В России сейчас танцуют танго смерти». Надвинул шляпу на глаза. Чудо, не потерял ни жилет, ни шляпу, ни пиджак. Ну, потерял бы – купил: на краденые деньги. Шуршат в карманах.

*

Ифигения Дурбин погибла глупо, страшно; и Анна потеряла хорошую работу.

Она видела, как толкуются возле метро проститутки. Легкие деньги стригут!

«Врешь ты все: тяжелые. Тяжелее некуда».

Шла мимо и прислушивалась к их речи. Свой жаргон, тайный, грубый, замысловатый. Похож на древние площадные стихи. Аргю уличных девок. Разбитная, густо накрашенная бабенка заметила, как Анна прядает ушами, и позвала ее: «Эй, мадам! Давай к нам! Всему научим! Хорошо жить будешь!» Анна шарахнулась в страхе.

Пока домой шла – все на свои туфли, донельзя стоптанные, глядела, на подшитые рукава пиджака. Да, не от Додо Шапель, точно.

Все бегала на улицу Дарю, жадно читала свежие объявления, русскими написанные.

«НАЙМУСЬ УХАЖИВАТЬ ЗА ДЕТЬМИ. ОТЛИЧНАЯ НЯНЯ. БЕРУ ДЕШЕВО».

«СПЕЦИАЛИСТ ПО УХОДУ ЗА СОБАКАМИ И КОШКАМИ. БЕРУ НЕДОРОГО».

«АККУРАТНАЯ ГОРНИЧНАЯ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ БОГАТЫМ ГОСПОДАМ, ЗА СКРОМНУЮ ЦЕНУ». «Цену» пишет с буквой «ять». Анна сама придерживалась старой орфографии. В России даже твердый знак расстреляли.

Все только предлагают. И никто ничего не просит.

Значит, сегодня опять провал.

Сколько можно сидеть без работы? Лидия уже вслух проговорила это, страшно: «Съезжайте, пожалуйста. Не стесняйте больше моих детей». Снять угол можно, если они и Семен сложат вместе доходы. А так – только на пропитанье.

Уход за собаками... кошками... Анна наморщила лоб. Кажется, Аля, всезнайка, болтала что-то о некоей мадам Мартэн, преподавательнице танго? Живет в Пасси. Далеко ездить, да, на двух автобусах, а может, и на трех. Аля трещала: у нее кошки, собаки, попугаи, и даже живой медведь! «Брось, Александра, чучело, наверное», – кривилась Анна.

Кто ходит у Мартэн за зверями? Может, ей наняться?

На мгновенье призрак запаха мочи и собачьего кала хлестнул по ноздрям. Ей стало дурно, ухватила рукой за ствол платана.

Семен вечером заявился довольнешенек, с улыбкой шире бульвара Капуцинов: ура, генерал повысил жалованье! Анна давно не спрашивала: кто, какой генерал, что за работа. Видела – все больше бледнеет муж. Через лоб бежит, вздувается синяя жила. У Ники – на лбу – точно

такая же. Как она его, Нику, рожала во Вшенорах – вспомнить – огненный мороз по спине! Огонь ярится, гудит в печи. Все простыни чистые, ледяные, крахмальные. Друзья и соседи всего нанесли. Принца родит, не иначе! Боль накатывала – Анна только сжимала рот подковой. Она не боялась боли.

Однажды лишь о боли подумала: когда ее палачи, солдаты, весело матерясь, наставляли на нее дула винтовок. «Больно будет? Да всего один миг!»

Кошки и собаки тоже беременеют и рожают. Будешь и роды у зверей принимать.

«Да ведь наверняка там челяди – полдворца. Забудь об этом».

*

Аля пришла из школы домой – плачет.

– Мама, их надо спасти! Давай их спасем!

– Кого спасем-то?

Аннины брови въезжали на лоб. Она закуривала папиросу, отгоняла дым рукой от Алиного отчаянного личика.

– Девочек! Амриту и Изуми! Таких чудненьких девочек! Ну хотя бы на время приютим! Изуми поработала в Мулен-Руж – да сбежала оттуда! Там на нее покусились!

– Покусились, – вздохнула Анна. – Отца о том спрашивай! Он командует парадом.

«Возьмем! Но сначала переждем от Чекрыгиных. Мы им жизнь заели», – коротко бросил, как отрубил, Гордон.

Спросила мужа: что печален? Пожал плечами: а чему радоваться?

Слухи ходят – там, в СССР, расстреливают направо и налево, тюрьмы набиты битком. Может, вранье все? Аля добывает откуда-то советские газеты. Кричит, и лицо красное: «Там счастье! Свет! Там – будущее! Хочу туда!» Ника угрюмо сидит, глядит на сестру исподлобья. Верит – и не верит. Взрослый не по годам.

Деньги. Они сосчитали их вместе. Наняли грузовой фургон – скарба нажили немного, а все ж тяжело тащить на горбу: Никина кровать, Никин стульчик, дорожные сундуки с постельями, чемодан старого тряпья, Алины книжки и учебники, и – Аннины рукописи.

Рукописей больше всего. Неужели для них – чемодан? Клали в мешки. Утрамбовывали. Увязывали Алиными атласными, еще московскими лентами. Анна смеялась. Видела в старом Лидином зеркале свои зубы: пожелтелые, почернелые от табака.

Ну что ж, куколки мои, собирайтесь. Укладывайте тряпочки в спичечные коробочки. Легчайшие, призрачные ваши пожитки. Машите жизни, что промчалась, тряпичными ручками. Головенками на пружинах – кивайте.

Погрузили в фургон вещи. Аля волокла на руках, как младенца, старую пишущую машинку матери, «Ундервуд». Анна вела за руку Нику. Семен уже сидел в кабине, рядом с шофером. С Лидией попрощались по-русски, троекратно поцеловались. Лидия перекрестила ее и семью. Спокойно, сухую рукой, без слез, без сантиментов. Устала она от них.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.